АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ
ВОЗНЕСЕНИЕ
ЛУЧШИЕ ВОЕННЫЕ РОМАНЫ
СПЕЦНАЗ. ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Александр Андреевич Проханов
Вознесение (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3955565
Вознесение: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-58909-8

Аннотация

Эти романы – о последних войнах современности, об Афгане и Чечне. Александр Проханов был на этих войнах, вместе с солдатами стоял в тени смерти и видел, как она парит над рваными окопами, дымящимися воронками, хирургическими столами полевых госпиталей. Книга страшная, потому что в ней ничего не придумано, ярко и детально прорисована батальная правда. Вместе с тем она несет в себе необыкновенно светлую, сильную небесную энергию доброты. Той доброты, которая неминуемо приходит на место ненависти и возносит души погибших бойцов к своему Творцу.

Содержание

Чеченский блюз 4
Глава первая 4
Глава вторая 12
Глава третья 18
Глава четвертая 25
Глава пятая 33
Глава шестая 41
Глава седьмая 47
Глава восьмая 55
Глава девятая 63
Глава десятая 70
Глава одиннадцатая 76
Глава двенадцатая 85
Глава тринадцатая 92
Глава четырнадцатая 98
Глава пятнадцатая 106
Конец ознакомительного фрагмента. 115

Александр Андреевич Проханов
Вознесение (сборник)

Чеченский блюз

Он был облечен в одежду, обагренную кровью…
Откровение Иоанна Богослова

Глава первая

Зимнее белесое солнце, чуть заметное сверкание инея. И под этим холодным светилом – выступы и ромбы брони, башни танков с длинными черными пушками, поротно стоящие бэтээры, колонны заостренных боевых машин пехоты, грузовые фургоны и кунги, решетчатые тарелки антенн, штыри, перекрестья и мачты, брезентовые палатки с дымами из железных труб, артиллерийские тягачи, санитарные машины с крестами, черная рытвина дороги, в которой рвется, буксует, не в силах вырваться, наливник. И за этой дорогой – коричневая чеченская степь, ржавые холмы с перепутанным сникшим бурьяном, красноватое село с кирпичными домами, веретенообразной колючей мечетью. И в далеком тумане бело-розовый город, его дымы, кварталы, неясные мерцания, колыхание пара, таинственная невнятная жизнь, отделенная от его, Кудрявцева, глаз толщей студеного синеватого воздуха с редким пролетом искристых разноцветных снежинок. Командир роты капитан Кудрявцев смотрел на Грозный, куда нацелилась бригада, и город казался видением, готовым исчезнуть в этот последний день завершенного года. Глаза его ловили пролетавшие искорки, подошвы ботинок упирались в сухую, пробитую морозом землю, под которой шевелилась жидкая незастывшая грязь.

Сочетание зимнего света, размытого серебристого облака, цветных снежинок вдруг странно колыхнуло его, будто прилетела и ударила в висок невидимая частичка. Пробила крохотное, как игольный укол, отверстие, и сквозь этот прокол он улетел в другое пространство и время. Их дом, окруженный забором, замерзшая грязь у крыльца. Гусь, важный и гладкий, втянул шею, положил на грудь оранжевый клюв, стоит на розовой ноге. Новогодняя елка в окне, и такая детская печаль, чувство последних мгновений исчезающего года, предчувствие огромной, ожидающей его жизни, полет разноцветных снежинок.

Это длилось секунду, и он вернулся обратно. Стоял на чеченских холмах среди танков, антенн и палаток. Наливник выруливал из жидкого пластилина дороги, медленно шел, надсадно ревел, соскальзывал в жидкую колею.

Звучно шлепая замызганными ботинками, подбегал посыльный. Издалека прикладывал ладонь к пятнистому картузу, громко выкликал:

– Товарищ капитан!.. К комбригу!.. Срочно!..

Гусь с оранжевым клювом. Детская елка с игрушками.

Он прошел сквозь каре, составленное из бэтээров и танков, полуутопленных в жидкой земле. Обогнул машины связи с пиликающими и верещащими рациями, затянутую маскировочной сеткой штабную палатку. Приблизился к кунгу, где обитал комбриг. Перед кунгом уже собрались начштаба, начальник артиллерии, зам по тылу, начальник разведки и особист.

«Весь хурал, – удивленно подумал Кудрявцев, останавливаясь чуть поодаль, не смешиваясь со старшими офицерами. – А я-то зачем, интересно?» Офицеры нетерпеливо топтались, поглядывая на железные двери, откуда ожидалось появление комбрига.

Начальник штаба, худой, с унылым желтоватым лицом, утиным носом и болезненными, тревожно бегающими глазами, простуженно кашлял в костлявый кулак.

– Вы мне дайте сперва обстановку!.. Дайте расположение противника!.. Дайте привязку для артиллерии!.. А уж потом толкайте в город!.. Мы здесь неделю торчим, а ты там бывал, разведчик?.. Я тебя спрашиваю, ты мне можешь показать опорные пункты?..

– Да какие тебе опорные пункты! – отмахнулся от него начальник разведки. – Троллейбусы ходят, магазины работают. Войдем, оглядимся, я тебя в ресторан свожу.

– Они тебя сводят в ресторан, гранатометом по яйцам! – огрызнулся начальник штаба и тут же закашлялся, сипло, со свистом, дуя в немытый кулак. И все смотрели, как мучительно ходят лопатки на его сутулой спине.

Начштаба был умный, дотошный. Раздражался от вечных недомоганий, неустройства, некомплекта техники и личного состава, изношенности моторов, нехватки снарядов, неразберихи и спешки, в которой их собрали, погрузили кое-как в эшелон, тащили неделю по Среднерусской равнине и, высадив в зимних сырых предгорьях, двинули напрямик, минуя дороги и тракты. На первом же переходе в сумерках по колонне с соседних холмов ударила установка «Град». Сожгла грузовик, перевернула два бэтээра. В темном воздухе густо летели красные трассеры, перекрещивались и мелькали белые пунктиры пулеметов, дымно горел грузовик, и он, ротный Кудрявцев, впервые попав под обстрел, стоял во весь рост, растерянно наблюдая полет множества разноцветных, наполнивших небо огней.

– Кто знает, зачем нас комбриг позвал? Может, звезду обмывать? – Особист плутовато стрельнул глазами и щелкнул себя по шее, словно уже видел солдата в белом фартуке, несущего с кухни свежую выпечку, кастрюлю с картошкой, зеленые, ядовитого цвета, помидоры, все это уже на столе вокруг желанной бутылки. – Повезло командиру! В самый Новый год получить полковника! Вот что значит дружить с Дедом Морозом!

Все засмеялись. Шутка особиста намекнула на московские связи комбрига, а сам шутник был похож на продрогшего мужика, знающего, где выпить.

Бригада была, как большая деревня, в которой вместо домов и посадов поротно построились транспортеры и танки. Любое происшествие или слух передавались от машины к машине, от экипажа к экипажу столь же быстро, как из конца в конец большого села. Еще не пришел в бригаду приказ о присвоении комбригу звания полковника, а только по связи из округа поступило устное сообщение, оно уже стало известно каждому прапорщику и контрактнику, возбудило их и обрадовало. Словно это коснулось их лично, сулило им благие перемены. Офицеры радовались, но и завидовали, ибо одновременно с присвоением комбригу открывался путь в Москву. В сахарное нарядное здание Академии Генерального штаба, подальше от этих чеченских полей, от составленных в каре заиндевелых машин, от туманного грязно-белого и враждебного города.

– Командир дал понять, что вечером обмываем звезду, – сказал зам по тылу, полный, рыхлый майор, на котором форма сидела неловко, словно сырая, а щеки, покрытые розоватым прозрачным жирком, вздрагивали и становились пунцовыми, когда он начинал волноваться. – Я по этому случаю телка добыл. Телятинки свежей отведаем.

– Чей теленок? Дудаевский? – поинтересовался связист, поводя чутким носом, словно надеялся среди холодной брони и выхлопов танка уловить запах горячего мяса. – Где, говорю, телка добыл?

– Сам в плен сдался! – хмыкнул зам по тылу и посмотрел поверх башен и пушек на далекие ржавые холмы, где в изморози краснело село и тонко взвивалась мечеть. – Добровольно перешел на нашу сторону!

Кудрявцев стоял поодаль, слушал, как балагурят офицеры. Было ему неуютно и тревожно на зимнем ветру, уносившем синеватые выхлопы танка. Остроконечная, под низким небом, мечеть. Белесое, сквозь маскировочную сетку, солнце. Отпечатки солдатских подошв

на вязкой, прихваченной морозом грязи. Все хрупко, одномоментно, связано с исчезновением времени, с последним днем готового завершиться года, с его проживаемой жизнью. Металлическая дверь кунга со скрежетом отворилась, появился комбриг. Казалось, он знал, что его поджидают, слышал часть разговоров.

Его розовое выбритое лицо дышало здоровьем и свежестью.

На нем не сказались тяжелые и опасные переходы по раскисшим чеченским дорогам под угрюмыми взглядами жителей, наблюдавших движение колонн. Его черные дерзкие усики над сочными губами были щеголевато подстрижены, а в темных блестящих глазах, насмешливых и властных, было предвкушение офицерского праздника за новогодним столом. Его плотное тело, ловко и ладно затянутое в чистую проглаженную форму, наслаждалось возможностью двигаться, балансировать на шатких ступенях кунга. На морозном ветру от его влажных, гладко зачесанных волос, от тельняшки, голубевшей у незастегнутого ворота, от промытых рук и розовых ногтей веяло дорогим одеколоном. В приоткрытую дверь в освещенном пространстве кунга засеребрилось овальное зеркало, зазеленела маленькая синтетическая елочка в стеклянных игрушках.

– Здравствуйте, товарищи офицеры! – весело произнес комбриг, доброжелательно и удовлетворенно оглядывая поджидавших его соратников. Сплоченный круг знающих и уважающих друг друга людей, среди которых он занимал первое, безусловное, место.

– Разрешите поздравить, товарищ подполковник! – бодро и громогласно, улавливая настроение командира, подыгрывая ему, сказал начальник артиллерии.

– Это с чем же? – Командир приподнял густую бровь, притворно удивляясь. – Вроде бы до Нового года полсуток осталось!

– С присвоением очередного воинского звания – полковника! – зычно, как в строю, рапортовал начальник артиллерии. – И если будет добро, товарищ комбриг, мы готовы приступить к обряду обмывания звезды!

– Да вы что!.. Откуда?.. Нету приказа! – суеверно отмахивался комбриг, делано сердясь, крутя красивой причесанной головой, но пробежавшая по его румяным губам улыбка выдавала, что он уже знает о присвоении, рад, благодарен офицерам, поздравляющим его с радостной вестью.

– Я вам звездочку отдам, товарищ комбриг, – сказал особист, скашивая глаза на свой полевой погон с зеленой звездой майора. – Обмоем ее. А военторг подтянется, Лариса палатку свою откроет, вы у нее звезду купите, мне отдадите.

Все заулыбались, едва заметно перемигнулись. Это значило, что они не верят, будто бы у комбрига не припасена парочка новеньких звезд. Ожидая приказа, отправляясь в поход, он позаботился и еще в городке их купил. В военторге, где за прилавком среди насыпанных медных пуговиц, золоченых кокард, шевронов, полевых и парадных погонов стояла царственная, пышная и ленивая продавщица Лариса с влажно мерцающими глазами, белой открытой шеей и душистыми, опадающими до плеч волосами. Она постоянно чему-то улыбалась, рассеянно слушала покупателей. Все знали, что она неравнодушна к комбригу. Теперь, отстав от бригады, она двигалась с тылами в фургоне военторга. Комбриг повесил в своем кунге овальное зеркало, нарядил походную елочку, подстриг усы и обрызгал себя одеколоном, ожидая с часу на час появления долгожданной тыловой колонны.

– Вы знаете, у нас в расположении развернута оперативная группа округа, – сказал комбриг, став серьезным. – Генерал вызывает нас к себе. Думаю, предстоит смотр бригады. Каждый из вас, я уверен, способен грамотно ответить на вопросы замкомандующего. Не завышайте наших показателей, не старайтесь пустить пыль в глаза. Но и не занижайте, не устраивайте стона и плача… Разведчик, я так говорю?

– Так точно, товарищ полковник! – вытянулся щеголеватый майор с лихими гусарскими усиками, похожими на две золотые запятые. Его выпуклые голубые глаза смеялись.

Все по достоинству оценили это обращение к комбригу как к состоявшемуся полковнику. Комбриг не поправил его. На его жизнелюбивом лице возникло и держалось мгновение выражение нескрываемого удовольствия.

– Товарищ комбриг, вы меня вызывали? – напомнил о себе Кудрявцев, стоящий в стороне, не соотносящий себя со старшими офицерами, приглашенными на доклад к генералу.

– Пойдешь вместе с нами, – строго сказал комбриг. – Твою роту ему покажем как наиболее благополучную. В плане боевой и политической подготовки. – Последние слова он произнес с раздражением, давая этим понять, что имеет в виду недавнее ЧП. Два прапорщика, напившись, открыли стрельбу из бэтээра, повредили крышу в чеченском селе, и возмущенные старики явились к комбригу с протестом.

– Вечером – праздничный ужин!.. Зам по тылу!.. Достать из НЗ четыре бутылки!

Он легко соскочил со ступенек кунга. Офицеры расступились, пропуская его, последовали за своим командиром. Кудрявцев, замыкая шествие, видел, как блестят начищенные ботинки комбрига и под ними проминается подмерзшая вязкая грязь.

Штабная палатка, куда вошли офицеры, была жарко натоплена. Железная печь гудела дровами, просвечивала малиновым раскаленным пятном. С потолка свисали лампы под жестяными козырьками. Под ровным слепящим светом лежала на полу огромная карта Грозного. Вокруг, едва не наступая на кварталы, микрорайоны и улицы, на красные и синие стрелы, стояли офицеры. Из соседних, разбросанных по степи частей, из сводных полков, из артиллерийских батарей, из бригады морской пехоты. Зачарованно смотрели на город, на расчленяющие его стрелы. По карте, наступая на хрустящую бумагу кожаными восточными чувяками, ходил генерал. Он был стрижен, лобаст, с упрямо сдвинутыми бровями. Тяжелые глаза строго оглядывали офицеров. Брюки с лампасами были вправлены в грубошерстные домашние носки. Инкрустированная указка, которой он водил по городскому ландшафту, кожаные, загнутые вверх тапочки, красные помочи, переброшенные поверх мундира, придавали ему сходство с генералом Ермоловым, который, как читал об этом Кудрявцев, тоже расхаживал в тапочках по карте, расстеленной подобно ковру в походном шатре. Кудрявцев вспомнил об этом, удивляясь совпадению. А потом догадался, что генерал умышленно желал походить на Ермолова. Хотел, чтобы собравшиеся обнаружили это сходство.

– Я собрал вас сюда, чтобы довести приказ министра обороны. Приказ поступил в оперативную группу вчера вечером. Мы не станем его обсуждать и сделаем все, чтобы незамедлительно его выполнить.

Он обвел офицеров тяжелыми, глядящими из-под выпуклого лба глазами, и Кудрявцев не мог понять, была ли эта тяжесть связана с раздумьями над поступившим приказом или с тем, что его сходство с Ермоловым вызывало иронию. Именно такую, тонко сквозившую иронию Кудрявцев заметил у комбрига морской пехоты. Тот ухмыльнулся и что-то быстро сказал своему соседу – офицеру в черной форме морпеха.

– Приказ министра обороны гласит: части группировки, дислоцированной в окрестностях города Грозного, должны войти в город. Продвинуться к административному центру – Дворцу президента, к почтамту, к вокзалу, к зданиям министерств и ведомств. Встать блоками по центральной улице и, обозначив присутствие, занять оборону. Не вступать в соприкосновение с противником, давая ему возможность группами уходить из города по оставленным коридорам.

Выдавленный из города противник становится мишенью для нашей авиации и артиллерии, будет разбит и рассеян не в жилых кварталах густонаселенного города, что чревато большими разрушениями и жертвами среди мирного населения, а на открытых пространствах в сельской местности. В силу своей малочисленности и неподготовленности противник не может оказать серьезного сопротивления регулярной армии. Выступление полков и

бригад намечено на сегодня, на шестнадцать ноль-ноль. Предлагаю всем выслушать разработанный в оперативной группе план вхождения в город…

Стало так тихо, что отчетливо слышались гудящая вибрация малиновой печки и хруст бумажной карты, по которой переступали островерхие чувяки генерала. Офицеры молчали, усваивали услышанное. Молчал и генерал, давая им время на то, чтобы удивление, несогласие, непонимание, ропот медленно и неуклонно превратились в готовность выполнить военный приказ.

– Теперь подробности о маршрутах. Об отдельных задачах, поставленных перед каждой частью. А также о формах и способах взаимодействия, – прервал молчание генерал, полагая, что приказ отпечатался под черепными коробками командиров. Плотно и осмысленно поместился за их лбами, на дне глазных яблок. Отпечатался на переносицах и в темных морщинах. – Порядок прохождения следующий…

Его указка, похожая на бильярдный кий, была инкрустирована костяными ромбиками и кусочками перламутра. По всей длине в красное дерево были врезаны колечки меди.

Он действовал указкой, словно готовился разбить «пирамиду», рассыпать шары по зеленому сукну бильярда. И один из этих шаров – его, Кудрявцева, рота, его, Кудрявцева, жизнь.

– Предлагаются три маршрута движения. Мотострелковой бригады. Сводного полка. И отдельно – бригады морской пехоты. Для каждой части темп продвижения таков, чтобы синхронно, к двадцати ноль-ноль, выйти на рубежи, занять оборону согласно утвержденному плану…

Кудрявцев наблюдал скольжение генеральской указки. Старался усвоить план операции. Запомнить улицы, по которым пройдут бэтээры и танки. Названия площадей и парков, где возможны засады и действия минных фугасов. Перекрестки, откуда возможны обстрел и налет. Он знал: его рота пойдет в авангарде. Ей надлежало первой выйти на привокзальную площадь, поставить блоки у перронов и складов, ждать, когда на фланг вдоль железнодорожных путей выйдут силы морпехов. Сомкнется дуга, от которой, как от сжатой пружины, начнут откатываться вооруженные группы чеченцев. Он, комроты, стоит по пояс в люке машины, смотрит на лепное здание вокзала, на перроны, на блестящую колею с отражением ночных огней.

Колея, которую он никогда не видел, и зеленоватое, с лепниной здание вокзала, где он никогда не бывал, виделись ему ясно, как на цветной фотографии. Город, удаленный, затягивал его своей гравитацией, волновал, порождал в душе сладостную тревогу, предчувствия, страхи, которые были сродни познанию. Гибкая стальная колонна развернула башенные пулеметы и пушки на две стороны, «елочкой», вела готовыми загрохотать стволами по освещенным окнам, фасадам, ночным в сиреневых кольцах фонарям. Эта сладостная тревога искупала все лишения и траты, делала привлекательной и желанной его военную профессию.

– Командиры частей и начальники штабов получат карты города с разметкой маршрутов. У вас будет время довести приказ министра обороны и план операции до командиров подразделений. – Генерал завершал сообщение. Подбросил в воздух и ловко перехватил указку ближе к толстому концу, как делают опытные бильярдисты перед тем, как нагнуться и поставить растопыренные пальцы на зеленое сукно бильярда. – Должен добавить, завтра у министра обороны день рождения. Выполнение поставленной им задачи будет лучшим от нас подарком. А уж он, я знаю, – генерал улыбнулся, показывая крепкие желтоватые зубы, делавшие его похожим на немолодую дворовую собаку, – уж он позаботится о представлениях и наградах!.. Вопросы?

Генерал нетерпеливо крутил стриженой головой. Оглядывал командиров, артиллеристов, разведчиков, связистов, авиационных наводчиков. Не ожидая неуместных и нелепых

вопросов, готовился отпустить их из натопленной палатки наружу, в сырое пространство, где горбились танки и боевые машины.

– Вопросы? – повторил он, поглядывая на столик, уставленный телефонами и рациями, возле которых дежурил связист.

Кудрявцев наблюдал офицеров и видел, как по-разному они восприняли приказ министра. Одни – и среди них комбриг морпехов – не обсуждали приказ. Озабоченные и суровые, уже думали над тем, как его исполнить. Были среди колонн, сажали под броню экипажи, заботились о том, чтобы с колоннами в город, не отставая, вошли наливники, грузовики с боеприпасами, санитарные машины и кухни. Другие – и среди них его командир, – огорченные и раздосадованные, сетовали по поводу сорванного новогоднего ужина, молча костерили генерала и министра, надумавших затаскивать в город войска в новогоднюю ночь, обрекая их на унылый ночлег в железных машинах, лишая возможности посидеть у горячих печек, в накуренном кунге за жаревом, за бутылкой, за анекдотами и песнями под гитару. Третьи, что помоложе, – такие, как начальник разведки, поводивший в разные стороны золотыми бравыми усиками, – радовались нежданному броску, возможности отличиться, оказаться на виду у начальства, заслужить награды и звания. Четвертые – немногие, такие, как начальник штаба, – мучились несогласием, не решались высказать его генералу. Были готовы промолчать, унести с собой свое несогласие.

Начальник штаба смотрел на комбрига, пытался поймать его взгляд. Своим страдающим несогласным взглядом побуждал комбрига высказаться от имени офицеров бригады. Но комбриг молчал.

– Разрешите вопрос, товарищ генерал? – Начальник штаба обратил к генералу желтое худое лицо, изведенное недомоганием и бессонницей.

– Говорите! – недовольно сказал генерал, досадуя на промедление.

– Есть несколько замечаний к изложенному плану операции. – Начальник штаба жадно глотнул горячий, наполненный дымом воздух, словно готовился кинуться в воду, в плотную безвоздушную глубину, собирая для смертельного прыжка все оставшиеся силы. – Должен доложить, что в штабе бригады нет достаточной информации о противнике. О численности, вооружении, местах дислокации, способах противодействия. Бригада из-за нехватки времени была лишена возможности произвести разведку собственными силами, а из оперативной группы так и не поступили сведения, основанные на данных агентуры…

Генерал удивленно выкатил круглые, набухающие гневом глаза. Ноги в чувяках и шерстяных носках заняли устойчивую позицию, словно он готовился нанести боксерский удар в некрасивое, с утиным носом, лицо начштаба. А тот уже не желал замечать грозившей ему опасности.

– Мне кажется, продвижение бронеколонн сквозь городские кварталы без поддержки пехоты, без предварительного выставления блокпостов на маршрутах противоречит классической тактике боя в условиях города. В академиях нас учили использовать опыт последних войн. Есть опасность подставить технику и личный состав под удары гранатометов и снайперов…

Офицеры, уже готовые разойтись, унести с собой неожиданный, наполненный нелепостями и противоречиями план операции, чтобы на свой страх и риск приступить к его выполнению, заполняя пробелы и бреши своим опытом, умением и трудолюбием солдат, надеждой на военную удачу, – офицеры зашептались, затоптались, закрутили головами, поддерживая отважного начштаба, рискнувшего, как неблагоразумный самоубийца, возразить приказу министра.

– К тому же отставание тыловых частей и связанная с этим нехватка горючего и боеприпасов могут привести к осложнениям в ходе боевых действий. Неукомплектованность подразделений, неслаженность сводных полков, слабая подготовка личного состава, в основ-

ном первого года службы, могут привести к большим потерям в таких сложных условиях боя, как большой город…

Генерал багровел на глазах, словно на него навели красный фонарь. Щеки его становились пунцовыми, как раскаленная стенка печки. Он чувствовал настроение офицеров, осмелевших после выступления начштаба, готовых забросать начальника градом вопросов, замечаний, сомнений. Багровея, он стискивал белым костяным кулаком инкрустированный кий.

– В силу сказанного, – завершал выступление начштаба, глядя не в лицо генералу, а на его восточные чувяки, попиравшие карту города, – кажется целесообразным перенести на неделю сроки вхождения в город. Провести интенсивную разведку по маршрутам движения. Составить подробные карты-схемы с указанием для каждого блокпоста его места, название улицы, номер дома. Совершить привязку артиллерийских целей на перекрестках и крупных объектах, которые противник может использовать в качестве опорных пунктов. Время отсрочки употребить для ускоренного слаживания, подготовки личного состава подразделений… У меня все, товарищ генерал…

Он умолк, изумляясь своей смелости. На мгновение вокруг него образовалась пустота, как вокруг упавшего в воду камня. В эту выдавленную пустоту через секунду должны были хлынуть раздражительность и нетерпение офицеров. И, упреждая их, генерал шагнул к начштаба, с хрустом давя чувяками карту города, наступая подошвами на президентский дворец, на центральную улицу, на здание вокзала под фиолетовыми зимними фонарями, на стальную черно-белую колею, отражавшую ледяные огни.

– Кто вы такой, что беретесь обсуждать приказ министра обороны! – Генерал повысил голос, почти кричал, придавая своему голосу нарочитый клекот и хрип. – Вы рассуждаете, как самоучка, допущенный до полковых учений! Знаете ли вы, что план разработан в Главном оперативном управлении с учетом данных космической и агентурной разведки?! Полностью согласован с политическим руководством страны!.. Его дорабатывали в штабе округа!.. Он доведен до вас после того, как над ним работали десятки лучших штабистов!..

Генерал утвердился в своем превосходстве. Видел, как съежился начальник штаба, вжал узкую голову в плечи. На его желтоватом, изможденном лице появились белые, смертельные пятна.

– Операция носит бескровный, чисто демонстративный характер, – продолжал генерал. – Она не потребует от вас широкомасштабных уличных боев, как в Берлине в сорок пятом году… По оперативным данным, противник уже покидает город, просачивается из него малыми группами. Надо только поднажать, понаделать побольше шуму, погреметь броней, и он откатится назад. Чеченцы – это все сплошь бандиты и воры, способные грабить поезда и магазинные кассы. Они разбегутся при виде скопления техники. Поэтому, повторяю, план предполагает продвижение сплошными колоннами, размещение на открытых участках города!

Генерал, крупный, сильный, багровый, чувствовал свое моральное и физическое превосходство над чахлым и болезненным начштаба. Согнул его, продолжал сгибать и ломать, а вместе с ним и молчащих, отступивших офицеров, отдававших на генеральскую расправу незадачливого товарища. Кудрявцев чувствовал их муку, малодушие, неспособность поддержать одиночку. Комбриг отводил глаза, не желал встречаться ими с генералом, начальником штаба и с ним, Кудрявцевым, искавшим командирский взгляд.

– Может быть, вы просто боитесь? – издевался генерал. – Может быть, вам просто не хочется отрывать зад от теплой печи? Может, вы предпочитаете поддать в новогоднюю ночь? У нас в последние годы развелись офицеры, привыкшие к тыловым харчам и боящиеся боевых как черт ладана… Если вы трус, пишите рапорт, я отстраню вас от операции! Товарищи пойдут без вас, а с вами мы потом разберемся отдельно!

Кудрявцев видел, как оскорблен начальник штаба. Как трусливо молчит комбриг. Как сникли подавленные офицеры. Испытывал стыд, отвращение к генералу, презрение к комбригу. Был готов выступить из-за спины офицеров и бросить в лицо обидчика яростные, безумные слова. Но громко, особым звоном заверещал телефон, связист поспешно схватил трубку и доложил:

– На связи Первый, товарищ генерал!

Генерал изменился в лице, согнал с него властное, беспощадное выражение, обретая другое – предупредительное и почтительное. Крепко сжал трубку.

– Слушаю вас, товарищ министр!.. Так точно, товарищ министр!.. Приказ доведен до войск, товарищ министр!.. Отношение боевое, бодрое, товарищ министр!.. А куда нам деваться – только вперед!.. Поздравляю вас с днем рождения и с наступающим Новым годом!.. Будем рады вас видеть в Грозном и, как говорится, чокнуться с вами в президентском дворце!.. Спасибо!.. Спасибо за все!.. Все будет выполнено, товарищ министр!..

Кудрявцев слышал разговор. Представлял московское беломраморное здание министерства, огромный кабинет с портретами царей, полководцев, огромный глобус, перед батареей цветных телефонов – праздничный, энергичный, с веселыми глазами десантника министр. Выставил погон с золотой звездой. Посылает им боевой привет в чеченские холмы и предгорья.

Генерал с сочным чавканьем положил телефонную трубку. Еще мгновение сохранял на обветренном пунцовом лице торжественное выражение.

– Совещание окончено, товарищи офицеры!.. Готовьте войска к выступлению. В ноль часов я лично прибуду в город, проверю выполнение приказа, поздравлю командиров и личный состав с Новым годом!..

Отвернулся, пошел в глубь палатки, пересекая хрустящую карту. Офицеры выходили на воздух, молча, угрюмо расходились. Кудрявцев видел, как комбриг нервно теребит на ходу свой подстриженный ус, как сутуло, по-стариковски, шагает в стороне начштаба. Ему было неловко за своих командиров. Он отстал от них, чтоб не слышать неуместные, неловкие шутки разведчика.

Глава вторая

Штабная палатка бригады – брезентовый шатер все с той же железной печкой. Солдат, озаряя худое лицо и кончики цепких пальцев, подбрасывает сосновые чурки. Комбриг ставит задачу командирам батальонов и рот. Молодые офицеры в серо-зеленой форме с блеклыми полевыми погонами, на которых едва различимы майорские и капитанские звезды, восприняли приказ с оживлением. Шумно обсуждали задачу, толкались локтями, заглядывая в карту, тыкали пальцами в нанесенный пунктир маршрута, записывали радиочастоты и позывные, уточняли ширину проходов и улиц, возможность быстрой доставки горючего, снарядов, санитарных машин.

Подшучивали друг над другом.

– Товарищ майор, вам сто грамм не успели налить. Теперь целый год ждать!

– Ты говорил, не будет шампанского! Теперь будет. Войдем в город, в первом же магазине возьмем!

– Климук, ты все о женщинах бредил! Считай, тебе повезло. В новогоднюю дискотеку завалимся!

– Кудрявцев, ты, как всегда, в голове колонны! Передавай по рации, где какие рестораны открыты. Пусть нам в привокзальном ресторанчике новогодний столик накроют!

Кудрявцев почти забыл безобразную сцену в оперативной группе. Как и все, был оживлен, озабочен. Его душа, ум и воля обретали осмысленную близкую цель. Ради этой цели он терпел лишения, занимался рутинной работой, трясся по жидким дорогам, ударяясь грудью о кромку стального люка, чертыхался, когда глох двигатель и приходилось брать застрявшую машину на трос. Впереди ожидал его город, огромный, живой, населенный множеством неведомых жизней, часть которых страшилась и не желала его появления, а другая – нетерпеливо ждала. Он войдет в этот разворошенный, взбудораженный город, распавшийся на враждующие куски. Стянет его воедино железными скрепами. Восстановит мир и порядок. Город сулил непредсказуемое, желанное будущее, в котором он проявит свою отвагу, удачливость, героизм.

Начштаба, все еще измятый и потрясенный, понемногу отходил от нанесенного ему оскорбления. Втолковывал молодым офицерам тонкости предстоящей задачи:

– Держите технику ближе к фасадам, ясно?.. Не закупоривайте проезжую часть, чтоб могло подойти подкрепление, ясно?.. Десант – на броню!.. Чуть что – по гранатометчикам всю огневую мощь!

Комбриг чувствовал вину перед начальником штаба. Переживал свое малодушие. Вторил ему:

– Не думайте, что вам предстоит прогулка!.. О противнике нет серьезных и проверенных разведданных!.. Бои в условиях крупного города – этому вас не учили!.. К тому же город наш, российский, в нем проживают граждане России!.. Помните, каждый выстрел, который вы произведете, будет направлен в граждан России!..

Офицеры слушали, кивали, не верили ни в какие выстрелы. Желали поскорее выбраться из скучной промозглой степи, оказаться в городе. Они уже усвоили задачу и теперь торопились в свои батальоны и роты готовить людей к выступлению.

Рота Кудрявцева была встроена в общее защитное каре бригады своими окопами, капонирами, боевыми машинами пехоты, брезентовыми палатками, солдатскими нужниками, цистернами питьевой воды, коптящими кухнями, часовыми, невидимой паутиной минных растяжек, грудами пустых консервных банок – всей массой железа, взрывчатки, перепаханной рыжей земли, человеческой плоти, источавшей в холодный воздух прозрачную дымку

жизни. Серый бурьян был срезан саперными лопатками, открывая сектор обстрела. Темнела свежая, непромерзшая рытвина капонира.

Боевая машина погрузила в ямину свое пятнистое компактное тело, направила пушку в степь. Вокруг машины на зарядных ящиках, на досках, на брезентовых плащ-палатках сидели солдаты. Раздавался хохот и свист.

На корме бээмпэ, укрепленная в крестовине, стояла ветка сосны. Вместо елочных игрушек ее украшали цветные обертки сигарет, фольга, начищенные крышки консервных банок. На вершине красовалась яркая латунная гильза от пушечного снаряда. Перед наряженной веткой на броне притоптывали, присвистывали Дед Мороз и Снегурочка. Два ряженых солдата балагурили и забавляли солдат. Дед Мороз был голый по пояс, ходили ходуном его накачанные мышцы, блестел на запястье толстый, из желтого металла, браслет. На голове торчала грязная чеченская папаха. Нижняя часть лица была занавешена растрепанной тряпкой. Дед Мороз качал бедрами, вздувал бицепс, обнимал Снегурочку за талию. Снегурочка тоже была голой по пояс. На груди ее красовался самодельный, набитый тряпками лифчик. От впалого живота с грязным пупком ниспадала короткая юбка, из-под которой выглядывали кривые волосатые ноги. От пупка вверх под лифчик уходила синяя змея татуировки. Они терлись боками, хватали друг друга за грудь и за бедра, целовались, выкрикивали какие-то нестройные куплеты. Солдаты заливались, хохотали, били ложками в котелки, свистели, кидали в танцующих щепки, комочки земли, скомканные газеты.

Кудрявцев подходил, набрав в легкие холодный воздух, готовился выдохнуть его командирским рыком. Прервать хохот и свист, скомкать наивное солдатское веселье, направить людей в работу, в торопливые сборы. Усадить их за прицелы, штурвалы, в десантные отсеки. Он приближался, но необъяснимо медлил, не мог найти подходящей секунды, верного шага и ритма. Не желал прерывать солдатский праздник, нестройный гогот и смех.

– Товарищ капитан!.. – вскочил ему навстречу командир взвода, юный розовощекий лейтенант с нежным фарфоровым лицом, сияющий прозрачно-голубыми глазами, которые делали его похожим на купидона. Кудрявцев видел такого, пухлого, свежего, с крылышками, с венком из роз, нарисованного на потолке старинной усадьбы. В руках лейтенанта были не розы, а кружка горячего чая. Ногти были грязные, на голову, прикрывая белокурые волосы, был напялен мятый зеленый «чепчик». Но все равно в нем оставалось много млечной юной свежести, сохранившейся среди холодных ветров, ночлегов на броне, грубости походного быта. – Второй взвод в составе…

– Отставить! – прервал его Кудрявцев, видя, как обернулись солдаты, разочарованные его появлением. Дед Мороз и Снегурочка неохотно расплетали свои объятия. – Продолжайте!

Он не понимал, почему не решился остановить их веселье. Лейтенант усадил его на зарядный ящик, стряхнув комочки земли. Солдаты снова повернули лица к елке, к ряженым, а те опять принялись кривляться, лобызаться, тискать друг друга, желая понравиться подошедшему командиру.

Дед Мороз надул бицепс с голубой веной, блестел золотым браслетом. Схватил Снегурочку за тряпочные груди, затанцевал перед ней, выкрикивая частушку, пяля на солдат выпученные белки. Крутил в грязной, изображавшей бороду тряпке красным, по-собачьи влажным языком.

С маленькой Снегурочкой
Мы играли в жмурочки!
Завалил под елочкой.
Засадил иголочку!
Ох ты, ох ты!

Он шлепал по броне башмаками, двигая непристойно животом, прикладывал оттопыренный палец к паху. Солдаты вокруг улюлюкали, хватали себя за бока. Молоденький лейтенант-херувимчик гоготал вместе со всеми. Кудрявцеву было неприятно слышать эту расхристанную, блатным голосом пропетую частушку.

Неприятен вид лейтенанта, неотличимого от солдат своим вульгарным свистом. В этой неотличимости таилась ненадежность, угадывался дух тления. Войска, набранные наспех, с миру по нитке, по разным гарнизонам, не успели превратиться в слаженные, проверенные в учениях боевые единицы.

Снегурочка мельтешила кривыми волосатыми ногами, обмахивалась вместо платочка рваным куском газеты, отвечала партнеру:

Командир у нас красивый,
Как цветочек аленький.
Посылает всех нас на «х»,
У него он маленький!
Ох ты, ух ты!

Все гоготали, оглядываясь на румяного лейтенанта. Тот покраснел, не зная, как реагировать на дерзость. Решил не подавать виду, что оскорблен. Смеялся вместе со всеми, красный от обиды.

И это неприятно поразило Кудрявцева – разнузданность и наглость контрактников, залетевших в бригаду бог весть из каких бараков и вытрезвителей. Взводный был слаб и неопытен, не умел поставить наглецов на место.

Дед Мороз отскочил от Снегурочки, едва не опрокинув елку с начищенной гильзой. Пустился вприсядку, громыхая по корме, и все тем же приблатненным надрывным голосом пропел:

Подошел ко мне чечен,
Показал метровый член.
Взял со склада я тротил
И его укоротил!
Ух ты, ох ты!

Он вытанцовывал, держа над головой руку с браслетом, а Снегурочка, виляя бедрами, дергала впалым животом, на котором среди пупырышков и царапин извивалась синяя наколотая змея.

Все дружно гоготали, били, кто ложкой в котелок, кто гаечным ключом в гусеничный тракт. Один, босой, ноги в расшнурованных ботинках, сделал из газеты хлопушку, надул, громко хлопнул, кинул разорванную газету в танцующих.

Кудрявцев усмехнулся, поймал себя на том, что ему нравится грубая частушка. Он, подобно солдатам, ожесточен против этих ржавых, посыпанных инеем холмов, из-за которых нет-нет да и прилетит одинокая свистящая пуля. Ожесточен против краснокирпичных богатых чеченских сел с железными зелеными воротами и островерхими мечетями, у которых стоят молчаливые суровые люди в папахах и плосковерхих кожаных кепках. Но, поймав в себе это ожесточение, он тут же его прогнал. Город, в который им предстояло войти, был населен чеченцами, татарами, русскими. Их общее неразделимое дыхание, общая нерасчленимая жизнь окутывали туманом далекие кварталы, заводские трубы, ажурные вышки электропередачи.

Снегурочка не нашла подходящей частушки, пропустила свою очередь. Только повизгивала, побрыкивала, непристойно подставляла Деду Морозу худосочный, прикрытый тряпицей зад. Дед Мороз хлопнул ее по заду, запел:

Я весь день копал сортир,
Потому что не банкир.
Приезжайте к нам, банкиры,
На открытие сортира.

Все валились от восторга набок, свистели в два пальца. Лейтенант-херувимчик забыл обиду, поднял вверх большой палец, поощряя артистов. И опять Кудрявцев поймал себя на том, что ему нравится грубая частушка, он, как и все, испытывает неприязнь к таинственным недоступным банкирам, которые сидят, затаившись, в своих особняках и стеклянных башнях, послав войска в эту зимнюю степь, снабдив в дорогу несвежей тушенкой, латаными палатками, тощими, брошенными на днища машин матрасами. Он не видел живым ни одного банкира. Среди его друзей и знакомых не было работников банков. Но он, как и многие офицеры, испытывал устойчивую нелюбовь к неведомому, недавно народившемуся племени, с которым связывалось множество неурядиц и бед.

– А теперь Дедушка Мороз будет дарить нам подарки! – закричала Снегурочка. Кудрявцев увидел, как из открытого щербатого рта вырвалось облако горячего пара. – Дедушка Мороз, что ты нам принес?

Тот заколыхал тряпичной бородой, неуклюже наклонился над люком. Сунулся в глубину машины и извлек на броню картонную коробку из-под пива. Достал из коробки подарок – начищенный красно-желтый автоматный патрон. Держал двумя пальцами, поворачивал во все стороны, показывал солдатам, словно это был бриллиант.

– Подходи по одному, пока не передумал!

Солдаты вскакивали, тянулись за подношением. Дед Мороз наклонялся с брони, наделял их подарком. Они возвращались на свои места, довольные, веселые. Рассматривали на ладонях продолговатый, с острой пулей патрон, на котором аккуратно, черной краской были начертаны цифры 1995.

Кудрявцев испытывал неясное, похожее на суеверие волнение, глядя, как солдаты, повинуясь неведомой, толкавшей их воле, протягивают худые, перепачканные землей и машинной смазкой руки, принимают в дар пулю.

Дед Мороз, язвительный и насмешливый, наделял каждого пулей, словно приобщал к чему-то неизбежному. Награждал тем единственным и доступным, что было им всем уготовано в зимней чеченской степи.

– Товарищ капитан, и вы возьмите! – Комвзвода счастливо улыбался свежими пунцовыми губами, держал на ладони свой маленький литой сувенир. – Здесь всем хватит!

Кудрявцев колебался. Боролся с предчувствием, одолевал суеверие.

Подошел к боевой машине. Дед Мороз, шутовски ухмыляясь и подмигивая, протянул к нему руку с золотым браслетом. Кинул ему в ладонь тяжелый, как желудь, патрон с аккуратными черными цифрами.

– С Новым годом, товарищ капитан!.. Сохраните подарок!.. В старости вспомните!.. – И он засмеялся, и вместе с паром долетел до Кудрявцева дурной запах перегара.

– Товарищ капитан, разрешите продолжить концерт! – обратился к нему лейтенант, наивно веря в то, что угодил командиру. – Еще много отличных номеров!

Кудрявцев смотрел на патрон, на кривую сосновую ветку, украшенную папиросной фольгой, и время, в котором он проживал, как вода, утекало в маленькую крутящуюся воронку.

Он пронырнул сквозь этот крохотный вихрь обратно, в исчезнувшее время, в другой Новый год.

Их школа, построенная из сухого теплого бруса. Малый залец с портретами писателей и ученых. Горячая кафельная печь. Доставая до смуглого деревянного потолка сверкающей стеклянной вершиной, упираясь в нее хрупким золотым острием, – елка, свежая, маслянистая, оттаявшая, в струйках серебряных нитей. В горячем сумраке среди музыки, мелькания лиц, треска хлопушек, фонтанчиков конфетти он танцует вальс. С учительницей, молодой и прелестной женщиной, которую обожал, ловил ее взгляды, запах духов, наклонялся над следами ее сапожков, отпечатанных на белом снегу, целовал поставленные в тетрадку отметки. Теперь, на новогоднем балу, он танцует с ней. Ловит ее близкое дыхание, обнимает рукой ее талию, чувствует, как сквозь платье движется ее гибкое тело. В кружении, почти теряя сознание, падая, видя в падении серебряную на елке игрушку, он прижался к ее груди, испытал сладостный слепящий удар, огненную бенгальскую вспышку. Видел ее смеющиеся, зеленые, отразившие елку глаза.

Очнулся – боевая машина пехоты, сосновая ветка в фольге, на ладони – латунный патрон.

– Товарищ капитан, разрешите продолжить концерт! – Лейтенант смотрел на него с обожанием.

Кудрявцев набрал глубоко холодный воздух степи. Повернулся к солдатам. Выдохнул вместе с горячей струей злой командирский окрик. Оборвал их веселье и праздник:

– Отставить концерт!.. Взвод!..

И уже неслась от машины к машине, от капонира к капониру, от одного десантного отсека к другому грозная бодрая весть. Начинали реветь моторы, фыркали кудрявые голубые дымки. Машины дергались в рытвинах, медленно, крутя гусеницами, вышвыривая комья земли, выползали из капониров. И повсюду среди грузовиков, фургонов и танков бежали, торопились, кричали молодые возбужденные люди. Кудрявцев шагал, побуждая своими командами и окриками действовать их энергичней и слаженней.

Он заглянул за фургоны походной пекарни, где стояли полевые кухни: валялись расщепленные доски, искрились не успевшие заржаветь опустошенные консервные банки. Увидел трех прапорщиков – стояли перед березовой плахой, на которой поблескивала початая бутылка водки. Один подносил к губам налитый стакан, а двое других жевали, держа ломти намазанного тушенкой хлеба. На стенке фургона, подвешенная за ноги, свисала полуободранная телячья туша с перламутровыми сухожилиями и золотистой приспущенной шкуркой. Под ней черно и липко, не впитываясь в мокрую землю, скопилась кровь. Между обвислых, с темными копытцами ног виднелся обрубок шеи с сахарно-розовым позвонком. На земле лежала отрезанная телячья голова с шершавым розовым носом, бархатными ушами, с туманно-голубыми в белесых ресницах глазами. Губы были приоткрыты, и в них, стиснутый зубами, виднелся кончик языка. Голова смотрела далеко, сквозь фургоны, кухонные котлы, груды консервных банок, в сумеречную степь, где угадывался размытый город.

– Что у вас? – спросил Кудрявцев, отступая от черной, как нефть, лужи крови.

– Да вот, бычка забили, – лениво ответил один из прапорщиков, обнажая желтые зубы и продолжая жевать. – Зам по тылу нацелил на ужин, а тут, вишь, выступаем! Ну и решили забить, с собой в город взять. Там и сварим. А то здесь пропадет, солдаты сожрут!

– А там раз-раз, порубим, кусками в котлы покидаем, в городе сварим, – добавил тот, что только что выпил водку. Морщился, сопел, отламывая кусок горбушки. – Еще и холодец получится!

Голова теленка, растопырив замшевые золотистые уши, смотрела отрешенно вдаль и кого-то напоминала Кудрявцеву. Кого-то очень знакомого и живого. Но он не мог понять кого. Вид этой мертвой, печально глядящей головы, теплой, окутанной влажным паром туши, при-

жатой к железной бортовине фургона, щемяще поразил Кудрявцева. Он все старался вспомнить, кого напоминает ему отсеченная, поставленная на позвонки голова.

– Может, выпьете с нами, товарищ капитан? – предложил прапорщик, указывая горбушкой на початую бутылку и нечистый мокрый стакан. – Для сугреву!

– Нет, – ответил Кудрявцев и пошел, чувствуя, как смотрят ему вслед наглые прапорщики. Все не мог понять, кого напоминает ему отрубленная голова бычка.

Глава третья

Бригада угрюмо шевелилась, дышала и хлюпала, напрягая огромное стальное тулово. Проснулась, сердито и недовольно стряхивала с себя землю и сор. Бугрила загривок, горбила спину, выползала из берлоги на свет. И на этом холодном свету начинали тускло светиться взбухшие мышцы, мерцали глазницы, скребли землю металлические острые когти. И там, где недавно дремало, покоилось невидимое существо, – там открылась парная черная рытвина, отпечаток огромного тела, сырая потная лежка, откуда поднялся и пошел на кривых могучих лапах растревоженный зверь.

Кудрявцев стоял в люке боевой машины пехоты, сжимал тангенту, посылая команды командирам взводов. Направлял машины к ближнему тракту. Уклонялся от движения выруливающих встречных машин, увертывался от неуклюжих танков, встраивался в общую, медленно собираемую колонну, в которую криками, матом на батальонных радиочастотах вгонялись взводы и роты, машины связи, грузовики со снарядами, цистерны с водой, подвижные зенитно-ракетные комплексы. Регулировщики, забрызганные грязью, задыхаясь от едкой, бившей в лицо гари, отмахивались жезлами от наезжавших танков. Как злые погонщики, криками, взмахами палок направляли тупое, неповоротливое стадо в одну сторону – к черному земляному тракту, в который проваливалась, оседала, продавливала землю, выстраивалась маршевая колонна.

Рядом в люке, отделенный от Кудрявцева стволом пушки, стоял взводный. Его нежно пламенеющее лицо, стиснутое грязным танковым шлемом, алело на ветру, как бутон шиповника. Он наклонялся в люк, что-то сердито и грубо кричал механику-водителю. Но, выглядывая наружу, озирая огромное, наполненное дымами, блеском и шевелением пространство, восторженно сиял глазами, приоткрывал пунцовые губы. Было видно, что он ликует, ощущая свою малую отдельную жизнь встроенной в могучее движение армады, где каждый, кто к ней приобщался, становился непобедимым, всесильным.

Бригада медленно выстраивалась. Осторожно щупала землю. Ставила и убирала с нее многотонные лапищи. Вытягивалась по степи среди серых холмов. Громоздила по вершинам чешуйчатую разбухшую плоть. Спускала в долину глазастую, с бронированным лбищем голову. Хвост ее вяло извивался среди рытвин и капониров, брошенных нужников и свалок, а голова, напряженная, осмысленная, укрепленная на тугой набрякшей шее, устремлялась вперед к невидимой, но уже желанной цели.

Кудрявцев поместился в голове колонны перед взводом тяжелых танков, кидавших ему навстречу брикеты грязи.

В черной гуще сверкала сталь гусениц. Краснели хвостовые огни танков, в эфире звучали позывные и коды, сквозь хрипы и свист он узнавал голоса комбата, ротных, редкие прерывистые команды комбрига и начальника штаба, которые по мере того, как выстраивалась колонна, становились спокойней и сдержанней, вплетались в надсадный рокот и лязг, сотрясавший степь.

Они спустились с холмов в низину. Среди пустых заиндевелых выпасов, темно-зеленых полей, безлистых серых садов тянулось село. Плоское, с отсветами железных кровель, с хрупким веретеном мечети, розоватыми туманными домами. Кудрявцев всматривался в село, пытался обнаружить приметы жизни – скотину, человека, повозку. Но село казалось ракушкой, захлопнувшей свои створки в минуту опасности.

– Притаились чечены! – перекрывая лязг и хрип моторов, крикнул взводный, хватаясь за влажную, в изморози, пушку. Указывал на село выпуклыми сияющими глазами, радовался могучему движению техники, огибавшей околицу.

Над селом, прорезая туман белой струйкой, взлетела ракета. Повисла на согнутом стебле, мерцая в млечном облачке. Сносимая к мечети, качалась, опускалась и гасла, оставляя блеклый исчезающий завиток. Ее бесшумное одинокое появление и медленное печальное исчезновение породили тревогу. Кудрявцев вглядывался в очертания села, в пустые вытоптанные выгоны, в мягкие размытые очертания окрестных холмов, ожидая увидеть источник тревоги. Но его не было. Ракета возвестила кого-то о том, что мимо села движется он, Кудрявцев, в танковом шлеме, в бушлате, с автоматом на брезентовом ремне, упираясь в спинку сиденья, на котором уместился стрелок. Ловит в голубую оптику слюдяное мерцание крыш, железные ворота, кирпичные стены мечети. Эта весть вознеслась розовым облаком, полетела, сносимая ветром в туманную степь. И кто-то невидимый за арыками, безлистыми садами, размытыми далями принял сигнал. Узнал о движении лязгающей дымной колонны.

– Сигналят! – Взводный, минуту назад радостно возбужденный и легкомысленный, теперь настороженно, вопрошающе смотрел на Кудрявцева, словно ожидал от него подтверждения своей тревоги. Потянулся вниз, в люк. Достал автомат. Перекинул ремень через шею, стволом к селу, уплывавшему за рыжий бугор.

Бригада качалась в холмах, раздвигая их стальными боками. Проныривала распадки. Взлетала на округлые вершины и с них оглядывала волнистую степь. Колонна то растягивалась, разрывалась, голова ее уходила вперед, но потом, пульсируя по-змеиному, она снова сжималась, ползла, огибая холмы. Если одна из машин глохла, вся колонна замирала, упираясь в заглохшую машину. Тягач брал ее на трос, дергая, вырывал из грязи, оттаскивал в сторону, и опять громада колонны, лязгая и гремя, продолжала движение, догоняла оторвавшуюся голову.

Кудрявцев видел перед собой копну гари, рубиновые хвостовые огни танка, его тяжелую, обращенную к холмам пушку. Орудия боевых машин и танков были развернуты в разные стороны к вершинам бугров. Глаза стрелков, командиров машин шарили по мягким размытым кромкам, ожидая пулеметной вспышки, белой, как электрозамыкание, искры, чтобы грохнуть по ней всей мощью наведенных стволов.

Город приближался, на дальних подступах высылал навстречу своих гонцов. Высоковольтные линии навешивали над колонной свои медные жилы, охватывали машины плетением металлических вышек. Попадались брошенные, без окон и дверей, строения, словно выгоревшие изнутри. Ржавые пути с окисленными, торчащими среди бурьяна цистернами казались упавшими с неба. И огромная свалка с зеленоватыми испарениями, чешуйчатая, усыпанная колючим металлом, мокрой гнилью, рыхлыми комьями пережеванного городом бесформенного вещества встретила колонну гарью, зловонием, поднявшимся граем ворон.

Они взлетали вяло, в разных углах свалки, ленивыми стаями, каждая из которых задевала землю и спугивала другую стаю. И все они, крича, заглушая моторы, сливаясь в черное мелькание, наполняли небо растопыренными черными крыльями, наклоненными головами, опушенными когтистыми лапами. Затмевали свет, кружили над колонной свою скрипучую карусель, пикировали, наставляли раскрытые злые клювы, маленькие яростные глаза. Стальные машины, пулеметы, орудия залипли в этом вязком, орущем и хлопающем облаке. Вороны не пускали колонну, посыпали ее сверху сором, пометом, черными лохматыми перьями.

Лейтенант-херувимчик пригнулся в люке, вобрал голову, словно ожидал удара отточенного клюва, выставил вверх автоматный ствол. Кудрявцев отворачивался от свалки, от ядовитых дымов, от зловония, летящего с земли и неба. Увидел, как падает на машину черная, с растопыренными перьями птица. Из нее вылетела упругая струя, разбилась о машину, брызнула ему на лицо теплую каплю.

Он брезгливо отерся, заслоняясь локтем. Наклонил голову, словно проезжал под низким опасным сводом. Свалка оставалась позади, утихала, опадала. Птицы отставали, усажи-

вались на теплую гниль, грелись в ней, клевали истлевшее, выброшенное из города вещество.

Когда вплотную приблизились к городу, въехали на бетонку, пошел снег. Там, где только что было черное, усеянное птицами дырчатое драное небо, теперь дышала мягкая сеющая белизна. Снег падал густо, ровно. Остужал лица благоухающей прохладой. Щекотал брови и щеки. Таял на губах. Сыпал на броню, на дорогу. Окружал рубиновые хвостовые огни танков.

Снег был внезапен, обилен. Закрывал все вокруг, словно был ниспослан чьим-то велением. Казалось, на трассу, на близкий город был наброшен покров, занавешивал, не пускал. Слепил глаза механиков-водителей, забивал горячие решетки моторов, заклеивал триплексы и прицелы, закупоривал стволы пушек.

Кудрявцев оказался среди невесомой воздушной белизны и почти испугался этого знамения небес. Ему на голову просыпалось множество хрупких частичек, которые о чем-то умоляли его, исчезали, гибли бессчетно под стальными гусеницами.

Природа, окружавшая боевую колонну, о чем-то вещала, говорила с людьми на невнятном языке. Люди не понимали ее. Давили на педали, сжимали оружие, сквернословили, переговаривались в эфире хриплыми голосами. Бригада, включив прожектора, натянув трансмиссии и карданные валы, пробиралась сквозь снегопад, оставляя на белой земле черный липкий след.

Кудрявцев чувствовал таинственность этого внезапного снегопада. Старался разгадать таившуюся в нем весть. Подставлял снегу ладонь, ловил губами снежинки, смотрел вверх на бесчисленное, прилетавшее из неба сонмище.

Тот давний, из детства, снегопад, накрывший их городок белым влажным одеянием. На мокрую землю, на палисадник, на черную воду реки, на заборы, на мертвые остья подсолнухов, на розовые вялые астры, на подгнившую скамейку, на забытый материнский платок вдруг стал падать снег. Густой, влажный, сладко пахнущий, словно прилетел из благоухающего небесного сада. Он стоял в палисаднике изумленно-счастливый, один, в непроглядной белизне, отделявшей его от всего остального мира. Этот опадающий чистый холод, чудесная невесомая материя была для него, во имя него. Дарила ему безымянное драгоценное чудо, которое делало его непохожим на всех. Ему одному сообщала бесшумную бессловесную весть о чем-то небесном и чудном. Он испытал вдруг такое волнение, такое детское умиление и нежность, что опустился на колени и, сокрытый от глаз, прижался лицом к земле, прожигая снег до мокрой вялой травы. На земле, на стеблях – отпечаток его лица. Щеки горят. На ресницах – холодные капли. В снегопаде – куст шиповника с красными твердыми ягодами.

Кудрявцев смотрел с брони, как туманятся рубиновые хвостовые огни переднего танка и на вороненом стволе автомата тают снежинки.

Колонна втянулась в пригород, в бараки, заводские корпуса, в нагромождение заборов и складов. Снег перестал, сгустились синие сумерки, в которые превратился исчезнувший снегопад. В этих сумерках над железнодорожными путями, над мазутными цистернами, над башней элеватора горел на мачте высокий лучистый огонь, словно спустилась с неба жестокая звезда.

Команды по рации звучали чаще и злей. Колонну ровняли, сжимали, устанавливали интервалы. Поворачивали пулеметы и пушки к полутемным строениям. Солдаты вылезали из люков, пристраивались на броне возле башен и пушек, с любопытством смотрели на город. Кудрявцев, сжимая тангенту, сгонял их с брони, заталкивал в тесную глубину под защиту стальных оболочек.

Они проезжали сумрачное полуразрушенное здание с огромной лысой стеной, на которую был направлен водянисто-белый луч прожектора. В этом луче виднелся выложенный кирпичом закопченный лозунг «Мы строим коммунизм!», а под ним были изображены муж-

чина и женщина, держащие в поднятых руках искусственный спутник, похожий на ежа. Их вид вызвал у Кудрявцева странное переживание, будто колонна их заблудилась, по неверным картам попала в другое, израсходованное и сгоревшее время, и копоть этого времени лежит на лозунге, на бронемашине, на лице взводного, и он, Кудрявцев, в легкой окалине сгоревшего времени.

Это чувство тоски и больной тревоги посетило его и кончилось, когда колонна вошла в город.

Стемнело, но улицы были ярко освещены. Горели фонари, окна домов, просторные витрины, неоновые вывески. Свежий снег нарядно блестел. На нем виднелась черная колея недавно пролетевшей машины. Отпечатки следов черным веером разбегались по подъездам и подворотням. Но люди и машины отсутствовали. Улицы были пусты. В озаренных витринах красовались товары, пламенели рекламы, мигали светофоры. В окнах разноцветно дрожали новогодние елочки. Но не было прохожих, не было стоящих у окон жильцов. Снег под фонарями нетронуто белел, и приходила в голову тревожная мысль: люди превращены в невидимок, незримо присутствуют на улицах, оставляют следы, смотрят из окон на проходящие войска, но их не разглядеть сквозь прицелы и триплексы, не различить сквозь приборы ночного видения.

– Повымирали все или что? – тревожно озирался взводный, засматриваясь на проплывавшие и такие заманчивые после дикой степи надписи: «Ресторан», «Магазин», «Кино».

Они двигались теперь по длинной центральной улице с большими нарядными домами, вдоль нарядных лепных фасадов, арок и колоннад. В стороне на открытом пространстве мелькнули река с черно-блестящей водой, посыпанный снегом мост, набережная, озаренная фонарями, каждый из которых был окружен прозрачным голубоватым пламенем, отражался в воде золотым мазком. На мосту не было ни людей, ни машин, только тонкий черный след шального автомобиля, сделавшего надрез на снегу.

В сквозных деревьях парка, парадные, приготовленные к празднеству, виднелись карусели – кони, верблюды, космические корабли, разукрашенные повозки и санки. И казалось, если подойти к каруселям, заглянуть в подвешенную коляску, то увидишь оброненную ленточку или фантик от конфетки.

Это безлюдье казалось неправдоподобным. В любой момент могло превратиться в шумные толпы, праздничное ликованье. Или во что-то иное, непредсказуемое и ужасное.

– Головные, снизить скорость!.. Не отрывайтесь, голова, от колонны!.. Замыкание, какого хрена отстали!.. Подтянись, замыкание!.. – звучал в эфире колючий, в электрических разрядах, голос комбрига.

Передовые танки замедлили ход, медленно молотили снег на проезжей части. Колонна набухала, заполняла улицу ребристой броней, тяжелыми пушками, едкими синеватыми выхлопами.

Они миновали площадь с озаренным президентским дворцом. Все окна светились, словно там шел прием. Граненые фонари на узорных чугунных столбах освещали площадь, но не было видно лакированных лимузинов, охраны, служителей, будто все приглашенные на прием услышали о приближении колонны, уловили мерное трясение земли, побросали хрустальные бокалы, тарелки с изысканными закусками и разбежались, укрываясь от тяжелых машин, нацеленных пушек, сосредоточенных стрелков и водителей.

Передние танки встали. Боевая машина пехоты, на которой сидел Кудрявцев, надвинулась, почти уперлась в хвостовые огни. Впереди из люка выставился танкист, оборачивался и махал.

На снегу перед танком в лучах прожектора среди сверкающих снежинок стоял человек. Маленький, в расхристанной ушанке, в клочковатой шубейке, в кривых разбитых башмаках.

Он смеялся, жмурился от слепящих лучей, крутил бородатой головенкой и что-то радостно выговаривал сквозь рокот танка.

Кудрявцев, подцепив автомат, соскочил с брони и, чувствуя, как мягко продавливается снег, приблизился к человеку. Тот блаженно улыбался щербатым ртом, мигал синими глазками, слюняво и косноязычно выговаривал:

– Этот, поди-тко, услышал!.. Айда со мной в магазин!.. Кланька кричит: «Погодь!»… А он ей: «Тудыт твою мать!..»

Он хохотал, крутил головенкой, рассказывал Кудрявцеву какую-то смешную, случившуюся с ним историю. Шмыгал провалившимся носиком, мигал из-под белесых бровей синими фонариками.

– Правильно идем на вокзал? – Кудрявцев всматривался в скачущее, в морщинках и трещинках, лицо, похожее на косматую мордочку веселого зверька.

– Арсланка зовет: «Айда!..» Я ему: «Эко вскочил!..» А он не сказамшись убег… Хлебушко есть, и живу!..

– Ты кто? – Кудрявцев всматривался в странного мужичка, возникшего на пути колонны. – Где люди?

– Он ить, Арсланка, ничтяк!.. Тыщща, а не то миллион!.. – Безумное, косноязычное, невнятное было в словах мужичка. В его голове под растерзанной ушанкой, под белесыми косичками волос плескалось веселье, как лужа, полная весенних лягушек. В этом веселье, казалось Кудрявцеву, таилась отгадка всех странностей, тревог, случившихся при вступлении в город. Бесшумной ракеты, взлетевшей над сонным селом. Озлобленного черного облака птиц. Внезапного волшебного снегопада, накрывшего город. Города и Дворца, лишенных своих обитателей. Блаженный мужичок что-то объяснял Кудрявцеву, тот вслушивался в его бульканье, был не в силах понять.

– Мне быть дак их бы встренуть!.. А уж Кланьку придут опосля!..

Он крутил головой, насмехался над Кудрявцевым, не умевшим понять его простого и доступного языка. Махнул рукой, ударил себя по бедрам, словно собирался взлететь, и, подскакивая, притоптывая, изображая из себя то ли курицу, то ли самолет, растопырил руки и побежал, оставляя на снегу цепочку следов. Исчез, словно взлетел. Растворился в сиреневом пламени фонаря.

Колонна двинулась дальше, лязгая железом, шелестя эфиром, пробираясь в заколдованном городе.

Издалека сквозь рокот моторов Кудрявцев услышал музыку. Сначала невнятную, заслоненную зданиями, казавшуюся обманом слуха, но потом превратившуюся в сильные свежие звуки, разносимые в холодном воздухе. Словно там, впереди, на площади, среди белого снега стоял рояль, и пианист во фраке давил лакированными штиблетами медные педали, бил по клавишам, встряхивал длинными волосами, и на зеркальной крышке черного инструмента лежал букет красных роз.

Танки выезжали на площадь, на ее белый овал, посреди которого стояла высокая елка. Мерцала, переливалась, пронизанная бегущими разноцветными огнями, увешанная игрушками, запорошенная, с большой золотистой звездой на верхушке.

Музыка лилась из репродуктора. Елка в сочетании с сочными, бодрыми звуками казалась приготовленной специально для них, прибывших из дикой степи, истосковавшихся по празднику, свету и радости.

Танки и боевые машины окружали елку темной броней, башнями, коробами, орудиями, окутывали ее гарью. Из люков высовывались головы в шлемах, «чепчиках», вязаных шапочках. Солдаты изумленно глазели на мерцающее диво, выставленное для них посреди площади.

– Вот это, я понимаю, встречают! – ахал взводный, расширяя радостные глаза, раскрывая руки, будто хотел обнять зеленое дерево, прижаться к засахаренным хлопушкам, многоцветным флажкам, качающимся барабанам и трубам. – А гостинцы будут давать?

Кудрявцева изумила не елка, не бравурные звуки рояля, а вид привокзального здания, старомодного, с лепниной, колоннами, полуокруглыми окнами. Именно таким представлял он себе это здание на совещании у генерала, когда ставилась боевая задача. Зеленовато-белое, окруженное голыми деревьями, с липкими перронами и фиолетовыми огнями, похожими на глаза изумленных животных, с тускло-синим отрезком стальной колеи, по которой, по словам генерала, должна подойти морская пехота.

Это совпадение изумило Кудрявцева. Он не мог объяснить, каким образом в его сознание залетело изображение вокзального здания. Кому и зачем понадобилось его передать? Чья страстная мысль и душа послала ему этот образ, остерегая, привлекая, заманивая?

Площадь была набита машинами, а они все подъезжали, теснились, закупоривали все входы и выходы. На броне толпились солдаты. Не решались спрыгнуть на землю, озирались, гоготали, махали друг другу руками.

И над всем сверкала, мерцала разукрашенная ель, неслась из репродуктора хрустальная музыка.

Кудрявцев увидел, как из соседних проулков и улочек на освещенную площадь стали выходить люди. Их появление вызвало облегчение. Город не был безлюдным, околдованным, брошенным обитателями. Люди группами подходили к машинам, мужчины, женщины. Издали были видны их улыбки, цветные платки, поднятые в приветствиях руки. Подходили к танкам, кланялись, протягивали блюда с виноградом и яблоками, белые полотенца с хлебами. Кудрявцев видел, как у подошедшей женщины блестят в улыбке белые зубы, какое красивое, удлиненное и чернобровое у нее лицо, узорный в слюдяном блеске платок.

– Добро пожаловать, дорогие товарищи! – Высокий смуглолицый чеченец, без шапки, с пышными до плеч волосами, прижал к груди сильные руки, поклонился, поднял лицо к стоящему в люке Кудрявцеву. – Мы вас так ждали! Приветствуем в нашем городе как защитников и освободителей!

Женщины подняли на вытянутых руках подносы с фруктами. Взводный оглянулся на елку и радостно засмеялся. Вообразил, что фрукты и хлеб в руках женщин и есть те самые, ожидаемые им гостинцы. Взял грушу, откусил. Было видно, как погрузились его крепкие зубы в сочную мякоть, как брызнул на подбородок сок. Лицо его выражало наслаждение, от которого он по-детски закрыл глаза.

– Возьмите хлебушек, откушайте! – по-русски, с говорком, произнесла молодая чеченка, протягивая Кудрявцеву полотенце с хлебом. – Тепленький! Из печки вынула!

Она улыбалась, кивала. Хлеб сдобно белел, румяный, пышный. Кудрявцев, помедлив, потянулся из люка, дотронулся до хлеба. Отщипнул податливый мягкий ломоть. Сунул в рот, почувствовал его ароматную душистую мякоть.

– Еще, еще! – улыбаясь, просила женщина.

Появление этих красивых дружелюбных людей, обилие фруктов, ароматы хлеба, тонкий, едва долетавший запах женских духов вдруг вскружили Кудрявцеву голову. Все перенесенные тревоги, изматывающая подозрительность, ожидание ловушки, засады – все это вдруг улетучилось, и он оказался в новогоднем праздничном городе среди красивых гостеприимных людей.

– Где Дудаев? – Кудрявцев спрыгнул на землю и стоял теперь перед пышноволосым мужчиной, разглядывая его смуглое лицо, белую рубаху под кожаным долгополым пальто, золотую цепочку на округлой шее. – Где боевики?

– Еще днем ушли. Узнали, что подходят войска, и ушли. Бросили Дворец, министерства и, кто как мог, пешком, на машинах, сбежали. Мы – из Комитета общественного согла-

сия. Послали своих людей занять президентский дворец. Завтра утром устроим митинг на площади в честь освободителей. Выступят наши народные лидеры.

Кругом из машин и танков выпрыгивали солдаты. Принимали угощения. Рвали и делили между собой виноградные кисти. Какой-то старик-чеченец достал из-под полы бутыль с темным вином, наливал в стаканчик. И солдаты, оглядываясь, не смотрят ли на них командиры, торопливо пили, закусывали грушами, яблоками.

И все это было знакомо Кудрявцеву, напоминало кадры фронтовой кинохроники, когда благодарные жители встречали войска на площадях освобожденных городов.

– Вы бы зашли к нам, дорогие товарищи! Обогрелись! – приглашал мужчина. – У нас тут дом рядом. Еда, новогодний ужин. Будем очень вам рады!

Кудрявцев слушал эфир, ожидая приказа комбрига, указания на то, куда расставить машины, какие подходы к вокзалу взять под контроль. Но приказа не было. Кругом было шумно, людно. Солдатские шлемы и шапочки мешались с женскими платками и каракулевыми папахами. Раздавался смех, рокотали на холостых оборотах моторы, играла громкая музыка. И хотелось домашнего тепла, уюта, вкусной еды, застолья. Хотелось новогоднего праздника.

Кудрявцев, поддавшись неодолимому искушению, оправдывая его желанием оглядеть окрестность, выбрать удобные позиции для машин, кликнул взводного и еще пару солдат. Затолкали за спину автоматы, чувствуя себя желанными гостями, отправились с площади вслед за радушным гостеприимным хозяином.

Глава четвертая

Они ушли с озаренной площади, от танков, боевых машин, шумного солдатского многолюдья в тихую окрестную улочку, где стояли небольшие одноэтажные домики, кирпичные, добротные, окруженные заборами с железными, крашенными в зеленое и синее воротами. Одни из ворот были приоткрыты, и Кудрявцев вслед за хозяином-чеченцем вошел во двор. На земле, на снегу, падая из окон дома, лежали полосы света. Под навесом, под сквозной, перевитой лозами крышей был накрыт стол. На длинной клеенке в фарфоровой миске дымилось мясо, зеленели груды пахучей травы, круглились огромные помидоры. В стеклянных вазах светились груши и яблоки, свисали до самой клеенки темные гроздья винограда. Стояли бутыли с черно-красным домашним вином. Вокруг стола хлопотали, расставляли тарелки, сметали с лавок сырой липкий снег молодые женщины, которые, увидев гостей, засмущались, заулыбались и куда-то исчезли, как тени.

– Прошу, дорогие гости! Посидите, покушайте с нами! – приглашал их темнокудрый хозяин, широким жестом указывая на застолье, на длинные лавки, на которые два шустрых, с бедовыми глазами мальчугана укладывали толстые шерстяные подушки, шитые черным и красным узором. – Чем богаты, тем и рады! – произнес он русскую поговорку, улыбаясь, желая угодить гостям.

В стороне, в темном углу заснеженного сада, дымилась и краснела жаровня. В отсветах виднелись молодые мужские лица, темные усики, быстрые глаза, ловкие сильные руки, клавшие на уголь шампуры с гроздьями шипящего мяса. Молодые люди издалека поклонились, сделали приветствующий взмах руками, и Кудрявцев заметил, как над огнем сверкнули часы на браслете.

Они рассаживались под виноградными лозами на теплые удобные подушки. Взводный жадно и весело смотрел на горячую еду, на резные черно-изломанные лозы, сквозь которые дышало холодное близкое небо, на открытую освещенную дверь, где на мгновение возникали смеющиеся девичьи лица. Солдаты, стесняясь, боком пролезли за стол, осторожно поставили у ног автоматы. Их глаза, приоткрытые рты, чуткие носы были нацелены на обильные, остро пахнущие яства.

Из дома двое подростков вывели под руки старика в бараньей папахе, в длинной, похожей на кафтан телогрейке, в стеганых, обутых в калоши сапожках. Старик был белобород, белоус. На сморщенном лице выделялся сильный горбатый нос. Подслеповатые глаза были прикрыты косматыми седыми бровями. Старика подвели к Кудрявцеву, и старейшина пожал капитану руку своими холодными костлявыми пальцами:

– Дудаев кто?.. Дурак!.. На Россию замахнулся!.. Ему говорили: Джохар, ты сбесился? С Москвой дружить надо! Москва Чечне все дала. Нефть дала, города, ученых людей. Сколько Москву дразнить можно? Она терпит, терпит, а потом ударит. Вот и дождался! Чеченцы с русскими – братья на все времена. Я сказал Исмаилу: пойди приведи русских!.. Спасибо, что пришли!

Пока старик говорил, его дрожащие холодные пальцы сжимали горячую ладонь Кудрявцева. Словно он хотел для пущей убедительности передать через пожатия переполнявшие его мысли. Тот, кого старик назвал Исмаилом, пышноволосый, смуглолицый чеченец, почтительно кивал, всем своим видом выражая почтение.

– Он ходил на прием к Дудаеву, – сказал Исмаил, когда старик умолк и подростки отвели его за стол, бережно усадили на узорную подушку. – Все прямо в глаза сказал. Мы думали, его убьют. Джохар правду не любит. А его с почтением на «Мерседесе» домой привезли.

Кудрявцев, месяц назад собираясь с войсками в Чечню, очень слабо представлял, кто такой генерал Дудаев. Его портрет в щеголеватой пилотке, с колючими кошачьими усиками, в золотых генеральских погонах не вызывал у него враждебности, а лишь раздражение, как и многое из того, что являла собой удаленная от гарнизона реальность, запаянная в телевизионную колбу. В этой колбе случались непрерывные скандалы, утомительные склоки, бесчисленные смерти, изнурительные выборы, бессмысленные дебаты, выступления надоевших артистов и усталых несмешных шутников, мелькали говорливые, лишенные пола существа и некрасивые, выставляющие напоказ свое дряблое тело певицы. И среди этой разноцветной, как нефтяные пятна, жижи, среди ярких и ядовитых разводов мятежный чеченский генерал был одним из многих, кто являл собой разложение и распад.

Кудрявцев, офицер, посвятивший себя служению, не понимал причин этого разложения, не находил его глубинных истоков. Был почти равнодушен к чеченскому генералу, казавшемуся ничем не хуже и не лучше других, русских, украинских, казахских, отпавших от великой армии, отломивших от нее сочный ломоть, жадно этот ломоть проедавших.

Стоя в степи на подступах к Грозному, разглядывая в бинокль туманные микрорайоны, слушая разведсводки и радиоперехваты, Кудрявцев изменил свои представления о мятежном Дудаеве. Генерал постепенно превратился для него в противника, обладающего войском. Однако это войско не в силах было устоять перед натиском полков и бригад и должно было рассыпаться, как рассыпается глиняное, покрытое трещинами блюдо с глазурованными цветками и ягодами, когда бьют по нему молотком.

Теперь в сумраке зимнего сада, окруженный огнями, грудами пахнущего голубоватого снега, глядя на близкие виноградины, в каждой из которых теплилась малая золотая искра, Кудрявцев подумал о Дудаеве, как о чем-то уже прошедшем, исчезнувшем, что растаяло и пропало, едва в город вошла могучая колонна бригады.

Все расселись. Стол наполнился красивыми дружелюбными людьми, каждый из которых словом, взглядом или жестом старался выразить расположение гостям. Передавал ножи и вилки. Наливал в граненый стакан вино. Клал на тарелку ломоть вареного, окутанного паром, на белой скользкой косточке мяса. Или просто издалека улыбался, прижимал к груди руку, кланялся, если встречался глазами с Кудрявцевым.

– Дорогие гости, воины нашей армии! – Чернокудрый Исмаил поднялся, держа в руках налитый вином стакан. Он был мужественен, красив со своими смоляными кудрями, белой рубахой, золотой цепочкой на крепкой округлой шее. Напоминал киноактера. Его речь, торжественно-дружелюбная и одновременно властная, выделяла его среди остальных. Он был главный, хозяин дома, ему мгновенно подчинялись. По его взгляду и жесту молодые люди кидались и приносили ему то чистое полотенце, то миску с кусками мяса, то еще одну расшитую цветной шерстью подушку. – Дорогие братья! Приветствую вас за этим новогодним столом в простом чеченском доме! Вы далеко от ваших семей, от ваших матерей и сестер. Мы – ваши братья, ваши самые близкие родственники. С Новым годом!

Он поднял к губам стакан, пил темное, уменьшающееся в стакане вино, двигая сильным смуглым кадыком, и цепочка у него на шее дрожала. Кудрявцев выпил свое вино, испытав наслаждение от терпкой душистой сладости. Мягкая теплая струя пролилась в него, и он через мгновение почувствовал, как легчайший сладкий дурман коснулся его глаз.

– Пожалуйста, угощайтесь. – Сосед Кудрявцева, любезный пожилой чеченец с седеющей щеткой усов, достал руками из миски кусок мяса. Отряхнул с него капли жира и сока и, держа за косточку, бережно положил на тарелку Кудрявцева. – Барашка попробуйте, очень вкусно! – Он смущенно улыбался, словно просил у Кудрявцева прощения за эту бесхитростную, бытовавшую среди близких людей манеру брать мясо руками. Кудрявцев улыбался в ответ, принимал его ухаживания. Ел горячее, вкусное, пьянящее мясо, запивал его терпким вином.

Солдаты, которых он привел с собой вместе с лейтенантом, жадно набросились на еду. После походной, набившей оскомину каши с тушенкой уплетали мясо, овощи, пили вино. Смеялись, распускали свои напряженные мускулы, крутили головами, о чем-то спрашивали, охотно отвечали. Один был тот самый худой контрактник, который несколько часов назад изображал Снегурку, танцевал на корме бээмпэ голый по пояс, пел разухабистые куплеты. Сейчас контрактник набивал рот мясом, по-собачьи глотал непрожеванные куски, давился, но не мог оторваться от еды. Снова набивал щеки, словно боялся, что чудо кончится и его, не успевшего утолить свой голод, уведут из-за стола.

Другой солдат был деревенский круглолицый мордвин, серьезный и сдержанный. Ел неторопливо, степенно. Отрезал от мяса ломти, тщательно жевал, запивал маленькими глотками вина. Вежливо улыбался, кивал головой говорившему с ним соседу.

Кудрявцев мимолетно подумал, не слишком ли увлекло его гостеприимное застолье? Не лучше ли встать, отблагодарить радушных хозяев, отправиться на рекогносцировку по окрестным улочкам. Наметить места для размещения боевых машин. Выставить «блоки» пушками и пулеметами в полутемные, с редкими огнями проулки, обороняя площадь, вокзал, железнодорожную колею, по которой через некоторое время подойдут морпехи. Он несколько раз порывался встать и вернуться на площадь, где скопилась и сгрудилась боевая колонна. Но такой вкусной была еда, такими приветливыми были хозяева, что он каждый раз оставался. Хватал пучки душистой травы, отпивал из стакана вино.

– Я сам – преподаватель пединститута, – наклонился к Кудрявцеву пожилой благовидный сосед. – Я тщательно изучал отношения Чечни и России. Имам Шамиль в конце концов подписал мирный договор с царем, признал вхождение Кавказа в Россию. Это было во благо Чечне. Все, кто пытается внести раздор между нами, являются врагами чеченцев. Их нужно судить как врагов народа! – Он твердо положил руку на клеенку, на его пальце блеснуло обручальное кольцо, и Кудрявцев старался понять, из кого состоит эта многолюдная семья. Кто здесь деды, отцы, дети, кто дядья и племянники, а кто просто соседи, приглашенные на званый ужин.

– А что, действительно Дудаев творил здесь бесчинства? – спросил Кудрявцев, чтобы этим вопросом поддержать разговор, ибо мысли его были о другом. Ему было хорошо и спокойно. Безлистые виноградные лозы с черными узлами и почками коряво, с резкими изгибами накрывали сквозной шатер. Снег медленно таял, благоухал, словно разрезанный свежий арбуз. Сквозь изгородь виднелся малый озаренный участок площади, белый, сияющий, с музыкой, голосами, сверканием елки, и казался краешком зажженной хрустальной люстры, под которым продолжался несмолкаемый праздник.

– Люди пропадали бесследно! – Сосед сокрушенно качал головой. Его седые, щеткой, усы горестно шевельнулись. – На прошлой неделе русскую девушку на улице убили и бросили. Боялись вслух громкое слово сказать. Меня самого сутки под арестом держали. Спасибо вам, что пришли. Дудаев, говорят, удрал в горы, а то и в Турцию. Наступит покой и порядок.

Кудрявцеву нравилось чувствовать себя избавителем этих добрых мирных людей. Вино, которое он пил, баранина, которая таяла у него на губах, были им заработаны. Были благодарностью за долгие дни лишений, за простуды, обстрелы, нескончаемые труды и заботы, выпавшие на долю солдат и офицеров бригады. Мятежный генерал с кошачьими усиками и его дикие, в пулеметных лентах и бараньих шапках, сторонники пробирались теперь в темноте прочь из города. Сторонились больших дорог и выставленных военных постов. Крались проселками, тропами, как затравленные пугливые звери.

Он опьянел, но не тяжко, а сладко и мягко, так что огни вдалеке окутались легчайшим туманом. Ему не хотелось говорить о политике. Хотелось, чтобы его пригласили в дом, в растворенную яркую дверь, где пестреет нарядная занавеска и то и дело появляется смешливое

девичье лицо. Ему хотелось осмотреть убранство дома, незнакомый быт и уклад. Ковры на стене, какой-нибудь серебряный в ножнах кинжал, какие-нибудь шитые шелками накидки. Он бы сравнил убранство кавказского дома со своим жилищем, опрятным и строгим.

Мать на праздники приглашала родню – двух своих братьев с женами, оба путейцы с железной дороги, сестру, незамужнюю и бездетную, худую, насмешливую, продавщицу в магазине. Отец Кудрявцева умер рано от быстротечной, спалившей его простуды. Но тетки и дядья со стороны отца не забывали племянника. На праздник за столом было людно и весело. И так славно было сидеть и следить, как взрослые подпаивают, подкармливают друг друга. Подкладывают квашеную с кусочками льда капусту, пупырчатые, пряные, с прилипшим листком смородины огурцы, жирный, дрожащий на ноже холодец. Разливают в лафитники водку. И старший из дядьев, могучий, краснолицый, с толстыми губами, чем-то похожий на добрую корову, поднимает рюмку огромной, чуть дрожащей рукой.

Это видение налетело, сладко тронуло душу. Кудрявцеву стало горячо и нежно. Эти два застолья сложились, сдвинулись, перемешались русскими и чеченскими лицами. Он испытал благодарность к этим недавно еще незнакомым людям, которые приняли его в чужом городе, обогрели и обласкали в чужом краю.

– Товарищ капитан, разрешите тост! – Взводный блаженно улыбался. Его переполняли восторженные мысли и чувства. Он должен был немедленно ими поделиться. Молодой чеченец, ровесник лейтенанта, бритый наголо, с красивыми вразлет черными бровями, резал ножом кусок баранины. Когда лейтенант поднялся, чеченец прекратил орудовать ножом, положил жирное тусклое лезвие на кусок мяса и, улыбаясь, приготовился слушать лейтенанта.

– Друзья! – Взводный обращал попеременно ко всем свое миловидное, нежно-розовое, как у херувима, лицо, и все, к кому он его обращал, поощряли его, улыбались. – Мне так приятно оказаться в вашем доме! Так неожиданно все получилось! И честное слово, такое чувство, что мы давным-давно знакомы! Я хотел бы от всего сердца…

Кудрявцев слушал с улыбкой, снисходительно прощал сентиментального, слегка опьяневшего лейтенанта. Но по мере того как умолкнувший лейтенант собирался с мыслями, намереваясь произнести что-то витиеватое, необычное, Кудрявцев вдруг ощутил, как вокруг что-то стремительно и неуловимо меняется. Словно перед грозным, готовым случиться событием, налетала бесшумная волна тревоги.

Все так же колыхалась занавеска в раскрытых дверях дома, и мелькало девичье лицо. В дальнем углу сада, в темноте, сыпались красные искры, кто-то махал опахалом, раздувая угли, и опять мелькнула рука с часами. Старик в папахе что-то вяло жевал, подслеповато разглядывая наложенные на тарелку яства. Исмаил отбросил за плечи мешавшие ему кудри, терпеливо ждал, когда продолжит говорить лейтенант. И в этой краткой наступившей заминке вдруг стало особенно тихо. Умолкла несущаяся с площади праздничная музыка. В тишине долетали отдельные нестройные крики, рокот моторов. Хрустальная зажженная люстра без этой праздничной, доносившейся из репродукторов музыки словно поблекла и потускнела. И все, кто был за столом, встрепенулись, прислушивались к этой внезапно образовавшейся тишине.

И в эту пустоту, как в прорубь, в разлом, в промоину, оторвавшую кусок горы, хлынул рев. «Аллах акбар! Аллах акбар!» – взревела невидимая толпа. «Аллах акбар!» – откликнулось черное низкое небо, уставленная домами земля, заснеженные сплетения деревьев. Будто на площадь, окружая ее кольцом, рвануло темное плотное толпище. Грозно выдыхало: «Аллах акбар!» Этот рев напоминал паденье огромных листов железа. Клокотанье стадиона, наполненного страстью и ненавистью. Клик ударил в застолье, опрокинул укрепленный на тонкой оси неустойчивый мир, перевернул его вверх дном.

Лейтенант, произносивший тост, все так же картинно, приподняв по-офицерски локоть, держал стакан с вином, сентиментально улыбаясь. Но эта улыбка переходила в гримасу боли и ужаса. Его прозрачные голубые глаза выкатывались и выпучивались, ибо в горле его, погруженный по рукоять, торчал нож. Костяная ручка ножа была сжата сильной, перепачканной бараньим жиром рукой молодого чеченца, еще недавно застенчиво улыбавшегося, готового услужить и помочь. Нож торчал в горле лейтенанта, из-под лезвия слабо выступила и тут же снова впиталась кровь. Лейтенант замер, надетый подбородком на нож, медленно оседал, и глаза его чернели от непонимания и боли. Как в замедленной съемке, выпал из рук стакан, и брызнувшее вино, словно в невесомости, парило крупными красными каплями.

Чеченец выпустил нож, лейтенант разом рухнул, провалился под стол. Голова с торчащей костяной рукоятью запрокинулась рядом с Кудрявцевым на расшитой подушке.

«Аллах акбар!» – ревело сквозь деревья, словно раздирали огромный сырой мешок, он трескался, лопался, вываливал наружу черную требуху.

Мордвин, жующий мясо, застыл с набитыми щеками, с раздутым, наполненным пищей ртом. Наклонил вперед голову, чем-то похожий на дворовую поперхнувшуюся собаку, и в его выставленный белый лоб, протянув руку с пистолетом, выстрелил Исмаил. Кудрявцев, остолбенелый, видел, как дернулась вверх рука с пистолетом, откинулась назад тяжелая красивая шевелюра чеченца, и пуля, отделившись от ствола, вырвалась из пернатого пламени, погрузилась в широкий лоб сержанта, пробуравила в нем дыру и ушла в мозг, перемешивая сосуды и губчатое вещество. Ударилась изнутри в затылок, расплющилась и стекла расплавленной каплей. Из дыры ударила черно-красная жижа; мордвин упал головой в тарелку, мешая баранью плоть со своим сырым, горячим, смешанным с кровью мозгом.

Брызги разлетелись по столу, и Кудрявцев, превращенный в каменный столб, не в силах пошевелиться, почувствовал, как мазнуло его по щеке.

«Аллах акбар!» – валил сверху черный оползень, захватывая в своем падении деревья, дома, выворачивая с корнем город, оставляя на его месте черную парную ямину.

Контрактник заверещал пронзительно, тонко, как подстреленный заяц. Вскочил, хватая прислоненный к лавке автомат, пытался выбраться из-за тесного застолья. Продолжая верещать, бросился вдоль стола, на ходу поворачиваясь через плечо, чтобы в развороте хлестнуть по столу очередью, сметая тарелки, вазы, круша поднявшихся в рост чеченцев. Но старик в папахе выставил стеганый, в блестящей калоше, сапожок, контрактник запнулся и кубарем, растопырив руки, стал падать. И в эту падающую, с растопыренными руками, мишень из темноты, из кустов, где мутно краснела жаровня, ударила тугая короткая очередь. Пробила контрактника колючим пунктиром, и он, продырявленный, с пробитыми внутренностями, рухнул. Умолк, шевелился среди раскисшей опавшей листвы, мокрого снега и черной, похожей на нефть, воды.

Все это произошло не последовательно, а одновременно, с отставанием в доли секунды. Кудрявцев видел три мгновенные смерти, случившиеся в перевернутом, упавшем с оси, опрокинутом мире. Пережил оцепенение, когда глаза, остекленелые, выпавшие из орбит, обрели панорамное зрение, увидели одновременно три смерти. Он остался один, и хрусталик глаза вдруг почувствовал, как зарябил, задрожал, теряя прозрачность, воздух. Это смерть стала надвигаться на него, проникая сквозь хрусталик. Он вдруг ослеп, и вся его жизнь, в которую нацелилась смерть, превратилась в слепое стремление прочь от смерти, заставила его действовать страстно и безрассудно.

Его сосед, седоусый «профессор», копался рядом, извлекая из-за ремня неуклюжий, неудобный пистолет. Понимал, что мешкает, сердился, поднимал на Кудрявцева глаза. И в эти глаза, в усы сокрушающим ударом кулака, толчком заостренного, таранно бьющего плеча ударил Кудрявцев. Выбил соседа из-за стола, кинулся в свободное пространство. Сна-

чала к дому, к кирпичной стене, к открытым, казавшимся спасительными дверям, к разноцветным и полупрозрачным материям. Вслед ему, проскальзывая под локтем, над плечом, у щеки, ударили пистолетные выстрелы. Расплющились на стене, задымились кирпичной пылью.

Уклоняясь от выстрелов, он отпрянул от дома. Метнулся к воротам, ударил в них головой. Услышал гонг, успев разглядеть закрытый засов. По воротам, по засову, ослепляя бенгальскими искрами, лязгнули пули. В крохотную пробитую дырочку сверкнула снаружи снежная освещенная улица.

Кудрявцев бросился вдоль высокой изгороди, ломая кусты, опрокидывая деревянные помосты, путаясь и разрывая тряпье и ветошь. И вслед за ним, над его головой, окружая его, дырявя стену, била длинная неточная очередь, настигая его звоном, искрами, колючими вспышками.

Впереди, замыкая стену, стоял сарай, тупик, черный угол, куда его загоняли, где ждала его неминуемая, настигающая смерть. И, слабея, почти смиряясь с ее неизбежностью, он на последней секунде, перед тем как погибнуть, собрал в огненную точку всю свою жизнь, весь хруст костей, стон рвущихся мышц и, толкнувшись о какой-то упор, вознесся, как на шесте. Полетел над изгородью лицом в небо, видя, как мечутся вокруг него прерывистые белые иглы.

Перевернулся в воздухе, упал по-кошачьи на четыре конечности. Пробежал на четвереньках, как зверь, рыхля снег лицом, руками, коленями. Вскочил, побежал прочь от дома, на площадь, где была бригада, где ревели в динамиках хрипы толпы и уже грохотало, стреляло, взрывалось, взмывало ртутными вихрями. Сзади по улице за ним гнались и стреляли. Провожали воем и криком, словно преследовала вдоль забора стая черных низкорослых собак. А спереди, там, где приближалась площадь, вставало навстречу рыкающее косматое чудище. Дышало красным дымом, и в раскрытой пасти хрипело и хлюпало стоголосое «Аллах акбар!».

Он выбежал на площадь, и на него пахнуло жаром, как из открытой печки. Дунул белый слепящий сквозняк, вдувал обратно в улицу. Одолевая давление ветра и света, Кудрявцев выскочил на открытое пространство и сразу пропал для преследователей. Смешался с клекотом, вихрями, перемещением огромных масс железа, свистом и лязгом. Замер, припечатанный к стене дома, окруженный взрывами и ударами пуль.

Площадь дрожала и лязгала, вздымалась клубами сажи, перекатывалась ослепительными шарами огня. Сыпала вверх искристые фонтаны, кидала струи пламени. Ломалась, лопалась, раскалывалась, прошитая пунктирами очередей, колючими перекрестьями. Из этого движения и лязга врассыпную бежали люди. Натыкались на встречные, под разными углами, трассы и падали, разворачивались и бежали обратно в огонь, в гарь, в кружение стали.

Кудрявцев увидел, как из огня, из месива гусениц и башен выполз танк. Горел на ходу, охваченный длинным рваным пламенем вдоль гусениц и кормы. Слепо накатывался на близлежащий дом. Из его пушки вырвалась плазма огня, снаряд тупо пробил стену, взорвался внутри, и в открывшуюся дыру, в кирпичную пыль и гарь воткнулось танковое орудие. Танк взорвался, разбрасывая крутящиеся колеса, катки, обрывки траков. Ветхая стена дома оползла и осыпалась на горящий, застрявший в строении танк.

Кудрявцев прижимался к стене, искал глазами свою роту, выстроенные в ряд с интервалами боевые машины пехоты, которые он безрассудно оставил, поддавшись на уговоры чеченцев. Туда, к машинам, к оставленным солдатам хотел он пробиться, выглядывая бортовые номера. Но не было роты, не было интервалов, не было построенных в колонну машин. Крутилась, лязгая, сшибаясь, огненная карусель, брызгала во все стороны разно-

цветной жижей, ядовитым дымом, выталкивала из себя горящих людей и тут же всасывала их обратно. В эту карусель со всех сторон летели трассы, длинные кудрявые побеги реактивных гранат. Долбили, взрывали, выковыривали из горящих машин огненный мусор, колючие букеты, составленные из раскаленной проволоки и угольно-красных цветков.

Кудрявцев видел, как из окрестных домов группами, по два, по три, выбегали гранатометчики. Стоя или падая на колено, направляли трубы с заостренными, похожими на корнеплоды гранатами в центр площади. Стреляли, вгоняя в скопление техники жалящие дымные клинья. Гранаты протыкали броню, взрывались внутри тяжелыми ухающими ударами, отрывая и отбрасывая люки, вышвыривая столбы света, истерзанную плоть, – липкие, летящие по воздуху языки.

Гранатометчики, отстрелявшись, отступали обратно, а на их место выбегали другие. Падали на колено, наводили трубы на площадь, вгоняли в нее заостренные клинья, и со всех окрестных крыш, из распахнутых окон летели, навешивались кудрявые дымные дуги, впивались в борта, в кабины, в башни, разрывая в клочья тупую застывшую технику.

Из динамиков сквозь взрывы и пулеметные трески, сливаясь с ними, звучало: «Аллах акбар!» С каждым выдохом и выкриком стоголовой толпы становилось светлей и светлей. Взрывы выталкивали в небо слои света, и площадь разгоралась, подымала огромные шевелящиеся своды. Посреди хоровода гибнущих людей, сгорающих наливников и танков мерцала новогодняя елка, сквозь дым виднелись хлопушки, раскрашенные барабаны и дудки.

Кудрявцев понимал, что случилось огромное несчастье, непоправимая беда. В этой беде гибнет его рота, его бригада, истребляются его солдаты и командиры, и он, безоружный, выброшенный на окраину площади, не в силах им помочь. Стоит с расширенными, полными слез глазами, в которых выгорает бытие, превращаясь в огонь, в свет, в ничто.

Из дыма, расталкивая бортами горящую технику, царапая и сбивая грузовики, вынеслась боевая машина пехоты. Помчалась вдоль площади по дуге, скользя на виражах, крутя пулеметом, рассылая вокруг наугад долбящие очереди. Стала прорываться в соседнюю улицу. И ей навстречу, освещенный, в рост, не страшась пулемета, выступил гранатометчик, подбил ее точным ударом. Из распахнутых взрывом дверей, как из шкафа, посыпались солдаты десанта. Катались, оглушенные, по земле, вскакивали, бежали, а их расстреливали в упор автоматчики, держа у животов дрожащие стволы.

Его ужас и безумие были столь велики, что гнали его не прочь с площади, подальше от ада, а, наоборот, в самый ад, в центр, в раскаленный фокус, где расплавлялось само бытие и куда летели, раскаляя этот фокус, колючие звезды гранат. Его засасывало в пустоту, в расплавленную дыру, и, отрываясь от стены, с помраченным сознанием, он метнулся на площадь. Но кто-то невидимый остановил его, вдавил обратно ударом жаркого воздуха, бессловесно приказал: «Смотри!» И он остался, прижатый к стене, с расширенными зрачками. Смотрел, как проносится у его лица горящая ветошь.

Взрывы и вспышки валом уходили с площади в горловину центральной улицы. Погружались в окрестные проулки, куда набилась техника, стояли впритык машины. Там вздымались багровые клубы, озарялись фасады и крыши, лопались взрывы, словно город стиснул в своих объятиях бригаду, сдавил ее фасадами, и пойманная бригада рвалась, тыкалась в стены, лопалась, не выдерживая давления сжимавших ее объятий. В этом мартене, среди пузырей и стальной слюны, слышались вой и стоны. Гибли экипажи, десант, растерянные командиры, водители грузовиков. Оттуда, где они гибли, взлетела, как сорванная ветром шляпа, башня бээмпэ. Медленно, перевертываясь, пушкой падала в белый протуберанец огня.

«Смотри!» – продолжало бессловесно звучать, и этот властный приказ удерживал Кудрявцева у стены.

Из огня, отделяясь от подбитых машин, выскочили двое. Обнявшись, охваченные пламенем, бежали. Заплетаясь ногами, меняя направление бега, поддерживали друг друга. Их пылающие комбинезоны и брюки казались разбухшими, под тканью пузырилась и вскипала плоть. Сгорая на бегу, не могли расцепиться. Упали, лежали в огне, продолжали шевелиться, и было неясно, остаются ли они живыми или это натягиваются, вспучиваются их мертвые горящие сухожилия.

Мимо Кудрявцева пробегал чеченец, в кожаной куртке, камуфлированных брюках, с худым бородатым лицом. В руках чеченца был автомат. Пробегая, он встретился с Кудрявцевым взглядом, повел автоматом, направляя его к стене, но не довел. Что-то хрипло, ненавидяще выкрикнул, продолжая бежать туда, где выскакивали из люков танкисты и где требовались его пули, его автоматные очереди, его черные злые глаза.

Елка дымилась, охваченная снизу пламенем. Лампочки продолжали мигать. Спасаясь от смерти, лез по стволу человек. Рядом взорвался наливник, вверх подлетел похожий на огромную цветную капусту клуб огня, пролился на елку, на карабкающегося человека липким дождем, превращая дерево в белую свечу.

Все спекалось, сплавлялось, превращалось в сплошной красный уголь. В этом шлаке, в ядовитом пепле смолкали крики и вопли. Реже звучали очереди и выстрелы пушек. Над площадью в клубах дыма, раздувая кострище, носилось уродливое многокрылое существо, плевало сверху красной слюной, харкало белой слизью, пялило во все стороны выпученные глазища. Над гибнущей бригадой, превращая ее гибель в чью-то победу и ликование, неслось неумолчное «Аллах акбар!».

Кудрявцев очнулся. Посмотрел на свои пустые, лишенные оружия руки. Оглядел площадь, где все ревело и пропадало в огне. Отдаленный край площади был темен, там не летали трассы, не мчались раскаленные головешки гранат, а стелился тяжелый слоистый дым. Туда, к этому дыму, прочь от побоища, побежал Кудрявцев, чувствуя истребляющий страх, толкавший его в спину, пинавший в крестец, извергая из его легких непрерывный бессловесный крик.

Глава пятая

В московском особняке, в бизнес-клубе, среди пушистых сугробов, аметистовых фонарей, бесшумных лакированных лимузинов, взбивавших улицу, как пуховую перину, праздничноо текла новогодняя ночь. В ресторанном зале, обитом темным мореным дубом, стояли столы под белыми скатертями. Горели в серебряных подсвечниках свечи. Сочно, жарко пылал камин, выбрасывая на кованый лист дымные угольки. Елка, убранная от подножия до стеклянной хрупкой звезды, переливалась и вздрагивала, когда быстрые полуобнаженные танцовщицы слишком близко проносились мимо нарядных, усыпанных стеклом и блестками веток. Пахло смолой, сладким дымом, женскими духами. С ними мешались запахи дорогого табака, горячих, разносимых вдоль столов яств. Висел ровный непрерывный гул голосов, звон стекла, звяк посуды. Играла лучистая яркая музыка. В разноцветных пучках света танцевали молодые прелестные женщины. Казалось, их обнаженные плечи, полуголые груди, стройные ноги проносятся в снегопаде, попадая в зайчики света, отраженные от зеркального шара.

Недалеко от камина, так что доставали струйки дымного горячего воздуха, между елью и белым роялем с золотой геральдикой находился стол, за которым главенствовал известный столичный банкир, влиятельный предприниматель Яков Владимирович Бернер. Рекламы его банка высвечивались на огромных уличных щитах. Вывески его корпорации сияли на крышах московских зданий, прожигая синюю ночь своими неоновыми иероглифами.

Бернер, моложавый, худой, с яркими черными глазами, красными свежими губами на бледном, тщательно выбритом лице, сидел вполоборота на резном стуле. Радостно, остро смотрел, как танцовщица в прозрачном трико поднимает под прямым углом длинную сильную ногу. Его волновала ее голая подмышка, гладкое обтянутое бедро. Хотелось поймать ее, крепко и больно сжать, почувствовать, как бьется, трепещет в объятиях ее горячее влажное тело.

– Скажи, дорогой, правда ли, что ты сам подбирал этот ансамбль, осматривал каждую балерину, как лошадь? Заглядывал ей в зубы, обмерял икры? – Его жена Марина, красивая и насмешливая, перехватила его жадный взгляд, недовольно выставила нижнюю губу. Они были женаты полтора года, она была на третьем месяце беременности, ее живот туго обтягивала зеленоватая ткань английского вечернего платья, и никто ее беременности не замечал. Но Бернер чувствовал, как изменился в дурную сторону ее нрав, как часто она раздражается и уже едва выносит запах пахучих соусов и рыбных блюд.

– Да, дорогая, – отшутился Бернер. – Именно как табун лошадей. Но поверь, ни одну из них я не пытался оседлать. У меня есть ты, моя дорогая лошадка!

За новогодний стол Яковом Владимировичем были приглашены гости. Кто случайно, подвернувшись под руку перед самым праздником, кто по праву называться другом дома, кто из соображений полезности, находясь с Бернером в деловых отношениях. Было произнесено несколько тостов, пили водку, виски, итальянское вино, французское шампанское. Умягченные и благодушные, разгоряченные напитками и музыкой, разговаривали, но так, чтобы их непременно услышал хозяин стола, одарил улыбкой или одобрительным взглядом. Бернер внутренне усмехался, не скупился на улыбки и взгляды.

Говорила гостья из Франции, русская княгиня, находившаяся в родстве с российским императорским домом. «Августейшая», – язвительно шепнула мужу Марина. Княгиня была стара, кожа ее была сухой, словно сброшенная на песок шкурка змеи. Волосы, седые, пышные, с голубоватым оттенком, напоминали сбитые сливки. Губы, окруженные множеством морщинок, напоминали пластинчатую изнанку гриба. На морщинистой склеротической руке красовался бледно-зеленый изумруд.

– В нынешний приезд Москва мне особенно нравится, – говорила княгиня, держась очень прямо, вытягивая из кружевного воротника черепашью шею. – Очень много красивых, хорошо одетых людей. Такие светлые, жизнерадостные лица. Вот что значит освободиться от большевистского гнета! И конечно, очень много красивых отремонтированных особняков. Я, знаете, посетила особняк на Полянке, принадлежавший до революции нашей семье. Меня поразило хорошее содержание комнат. Даже медная люстра, которую я помню с детства, все еще висит в прихожей.

– Не исключено, – Бернер улыбнулся, поощряя ее несколько пергаментную шелестящую речь, – не исключено, что скоро появится закон, по которому собственность, отобранная в революцию, будет возвращена ее прежним владельцам. Мои друзья-депутаты разрабатывают новый законопроект. Как знать, может быть, вы скоро сможете вернуться в свое родовое гнездо!

– О, это было бы чудо! – тихо закачала головой княгиня, прикрывая глаза желтыми, как у совы, веками. Казалось, она вспоминает туманные образы детства.

– А верно ли, – Марина с едва заметным акцентом передразнила княгиню, – верно ли, что коли в России восстановят монархию, то монархистам пожалуют титулы графов, князей и баронов? Можем мы с мужем рассчитывать?

– О, непременно! – улыбнулась княгиня, показывая фарфоровые зубы, похожие на край тарелки. – Ваш замечательный муж столько делает для восстановления русской монархии!

– Барон фон Бернер! – хохотнул сидящий за столом весельчак Сегал, пористый розовый нос, сияющая, загорелая под банным кварцем лысина, белые, как пух одуванчика, волосы. – Остзейский немец!

Бернер строго посмотрел в его сторону, и тот, слабо хихикнув, умолк. Княгиня приехала в Москву на средства и по приглашению Бернера. Он же через несколько дней отправит ее в Екатеринбург, где княгиня желала побывать на месте захоронения царских останков. Взять горстку земли, в которой, как она говорила, содержится «частичка мощей императора». Бернер уже заказал ей гостиницу, автомобиль, провожатого, поговорил по телефону с губернатором. Взамен же он надеялся на протекцию княгини, которая была в родстве и дружбе с влиятельными политиками Франции, где Бернер собирался открыть сеть бензозаправок. «Николай» – так думал он назвать свою фирму, торгующую за границей бензином, в честь убиенного императора.

Официант в белом, узком в талии сюртуке, в кружевной рубашке с бантом, похожий на тореадора, картинно поднес серебряное блюдо с нарезанными ломтями осетрины. Незадолго до этого целый осетр, чешуйчатый, волнообразный, с букетиком бумажных цветов в остроконечном клюве был продемонстрирован застолью. Теперь же, рассеченный на ровные ломти, лежал на блюде. Официант изящно взмахивал перламутровой лопаточкой, цеплял порции, клал на свежие тарелки, не забывая подложить серебряной ложечкой горстку благоухающего хрена.

– Господа, такая чудная еда! Можно сказать, объедение! – Сегал поднялся, роняя салфетку, держа хрустальную рюмку. – Предлагаю выпить за здоровье нашего друга и, не боюсь сказать, благодетеля, собравшего нас за этим дивным столом! За Якова Владимировича, у которого, смею надеяться, новый год будет не только годом приращения его несметных капиталов, но и в буквальном смысле Годом приращения!.. Кстати, чтоб не забыть! – Он быстро сменил свою напыщенную патетическую речь на смешливую, с хрипотцой и одесским акцентом. – Анекдот! Два еврея терроризировали деревню с помощью своих двух обрезов! – И, не дожидаясь, когда засмеются другие, захохотал, бурно тряся животом. Полез через стол чокаться с Бернером.

Бернер не рассердился на него, а насмешливо наблюдал, как он погружает в хрустальную рюмку толстые губы, неряшливо сует в рот большой кусок осетрины.

– Скажи, почему, – язвительно спросила Марина, – когда еврей рассказывает такие истории, это называется анекдотом, а когда члены общества «Память», то это – антисемитская выходка?

Марина не любила Сегала, не понимала, почему муж терпит подле себя этого неопрятного и неумного балагура. Бернер оценил остроумное замечание жены, но не стал ей объяснять, что дорожит Сегалом, как музейным экспонатом из прошлого, когда он, неопытный молодой инженер, делал первые робкие шаги в бизнесе, и Сегал, матерый адвокат, спас его от уголовного преследования.

Он обернулся туда, где за белым роялем стоял небольшой столик. Без вина, с бутылкой минеральной воды и бутербродами за столиком сидели его телохранители, дюжие парни в зеленых взбухших пиджаках, и вместе с ними – начальник службы безопасности ингуш Ахмет, рыжеватый, жилистый, с подстриженной щетиной. Ахмет перехватил взгляд хозяина, посмотрел на лежащий перед ним мобильный телефон, отрицательно покачал головой. Бернер понял – ожидаемого звонка не было. Долгожданное известие запаздывало.

Известие, им ожидаемое, касалось штурма Грозного, намеченного на новогоднюю ночь. Как объяснил ему министр обороны, войска должны были внезапно войти в город, вытеснить Дудаева на сельские равнины под удары авиации и установить контроль над нефтяными комплексами. Именно с этими комплексами был связан интерес Бернера. Нетронутые войной, законсервированные заводы, сияющие стальные башни, жирные, уходящие в степь трубы, серебряные, похожие на огромные пузыри нефтехранилища – все они должны были перейти в собственность Бернера. Концерн, который он возглавлял, пользуясь негласной поддержкой правительства, сразу же после боевых действий вступит во владение собственностью. «Усмирение мятежной Чечни» диктовалось нефтяной политикой. Через ее территорию из России, Азербайджана и Казахстана на картах, висящих в кабинетах торговцев и потребителей нефти, уже нарисованы линии магистралей, разноцветные пучки, напоминавшие стрелы ударов. Схемы борьбы и стратегии за господство в двадцать первом веке.

Именно это известие – о вступлении войск – должен принести ему Ахмет, когда на его столе нежно зазвонит телефон, темный моллюск, усыпанный присосками кнопок.

Еще один гость, приглашенный Бернером, развлекал своим разговором застолье. Это был известный деятель русского патриотического направления, заявивший о себе еще во времена коммунизма. Он выступал за возрождение православия, за переименование улиц, за реставрацию храмов и за то, чтобы русские люди называли друг друга «сударь» или «сударыня». Его критиковали в советской прессе, он слыл почти диссидентом, хотя печатал статьи и книги и выезжал за границу.

Никита Станиславович Загребельский, румяный и белоусый, со скобелевскими надушенными бакенбардами, по-орлиному радостно взирал на хрусталь, серебро, драгоценности на шеях и пальцах дам, на летучих белоногих плясуний. Отложил вилку, с которой только что сжевал лепесток красной рыбы, и, еще дожевывая, говорил:

– Милостивый государь Яков Владимирович, в отличие от новых властителей России, вы понимаете роль и значение церкви в строительстве государства Российского. Большевики, как известно, строили свой рай без Бога, и вышел ад. Строили свою церковь без Бога, и вышел ГУЛАГ. Строили вечный Интернационал, ан получилась горстка пыли, которую ветер раздул!

Загребельский говорил назидательно, но и с легкой насмешкой. Поучительно, как пастырь, но и с легкой иронией к тому, о чем говорил. Его жена-старушка, похожая на белую мышь, что-то мелко жевала, двигала маленьким носиком, дергала румяными старушечьими щечками, подслеповато разглядывала на тарелке остатки еды.

– А ведь новую-то Россию, которую опять хотят без Бога построить, на одном только экономизме и американском здравом смысле, – ее ведь опять Бог порушит! Вот почему вы,

милостивый государь Яков Владимирович, очень верно высказались на нашей встрече с владыкой, что, дескать, пора иерархам войти в политику. Пора взять на себя державное бремя, не уступая его бездуховным людишкам, среди которых ох как много ревнителей Коминтерна, которые затаились и ждут своего часа. Церковь должна наконец возгласить с амвона свое промыслительное слово!

Загребельский был нужен Бернеру как представитель того «барского» велеречивого слоя московской интеллигенции, которая мечтала о создании консервативной патриотической партии. Такая партия замышлялась Бернером как противовес радикальным либералам, к которым многие и его причисляли, а также красным реваншистам, которые казались Бернеру наиболее опасными. Он начал вкладывать деньги в создание такой «православной патриотической партии» и недавно был на приеме у влиятельного митрополита, где изложил свои взгляды. Перед визитом он долго перед зеркалом репетировал поклоны и жесты, приличествующие принятию благословения. Прием прошел великолепно. Митрополит остался доволен подарком – старинным пасхальным яичком, усыпанным крохотными рубинами. Обещал содействие в создании партии.

– Ты действительно хочешь назначить его начальником «русской идеи»? – шепнула Марина. – У него жена похожа на морскую свинку. Такой будет и партия!

– Что поделать, моя дорогая, – вздохнул Бернер, целуя ее теплую мочку уха с капелькой бриллианта. – Вся политика напоминает передачу «В мире животных».

Опять появился молодой тореадор, в кружевах, с малиновым бантом. На серебряном подносе красовалась индейка, глазированная, политая жиром, тщательно ощипанная, словно побритая бритвой «Жиллетт». Официант грациозно, словно танцор, поворачивался вокруг оси, обносил стол, демонстрируя очередное яство. Бернер представил, как тореро с мулетой, красным плащом, сражается с индейкой. Победив ее в кровавом бою, демонстрирует свой трофей.

Марина угадала его мысли, заулыбалась:

– Месяц назад мы были с тобой на корриде. Ты запрещал мне смотреть, говорил, что ему не надо это видеть. – Она положила его руку себе на живот, и он почувствовал исходящее тепло, налитую упругую округлость.

– Закажу для тебя художнику какую-нибудь сказочную, волшебную картину, – сказал растроганный Бернер. – Смотри на нее и любуйся. И он будет смотреть и любоваться.

Индейка, разделанная и расчлененная на белые и смуглые ломти, уже лежала на тарелках. Ее поливали соусами, делили на мягкие волокна, запивали вином и водкой.

– Дорогой Дональд. – Бернер обратился к худощавому, в тяжелых роговых очках американцу, секретарю посольства, который благожелательно наблюдал за русским столом, как няня наблюдает за играющими в песочнице детьми. Его молодая, с лошадиной головой жена слегка опьянела, плохо понимала по-русски, начинала вдруг громко смеяться со странным, тоже лошадиным всхрапыванием. – Дорогой Дональд, скажите, как, по-вашему, отнеслась бы американская общественность к небольшой победоносной войне, развязанной нашим федеральным центром против одной из взбунтовавшихся окраин? Протестовала бы, как обычно, или закрыла на это глаза?

Дипломат занимался в Москве сбором стратегической информации. Был нужен Бернеру для осуществления небольшой, но важной операции, связанной с его финансовыми интересами в Америке. Бернер оказывал американцу услуги, сообщая конфиденциальные сведения из «коридоров власти», знакомил с влиятельными чиновниками, получая взамен протекцию в Госдепе и финансовых кругах Уолл-стрит.

– Какую окраину вы имеете в виду? – уточнил Дональд, резко увеличив глаза в роговых окулярах, словно где-то подкрутил невидимый винт. – Татарстан или Чечню?

– Нет-нет, только не Татарстан! – замахал руками Бернер. – Допустим, что это Чечня!

– Думаю, все будет зависеть от продолжительности и уровня конфликта. – Американец стал серьезным, и его глаза в роговых оправах снова уменьшились на пол-оборота винта. – Если война будет скоротечной и победной, с малым количеством потерь, то, я полагаю, американцы закроют на это глаза. Важно, будет ли обеспечен надлежащий информационный фон, как это было в Москве во время штурма вашего парламента. Американцы, симпатизирующие любому парламенту, были тогда на стороне вашего президента, а не парламента.

Ответ был сделан аккуратно и точно. Казалось, дипломат давно предвидит возможность войны в Чечне. Уже послана аналитическая записка в Госдеп, собраны данные о сепаратизме в России.

– Дональд, могу я вас попросить об услуге? – Бернер перевел разговор от большого к малому, от общезначимого к личному. – Мой компаньон, большой друг Америки, должен срочно вылететь в Штаты. Но ваш консульский отдел отказывает ему в визе на основании якобы имеющихся в компьютере данных о его криминальном прошлом. Коммунистическое прошлое для всех антикоммунистов было криминальным. Не следует принимать в расчет конфликты и сложности, возникавшие между тоталитарным режимом и самой дееспособной частью общества. Помогите получить ему визу. А мы, в свою очередь, не останемся в долгу перед вашими друзьями.

– Как имя вашего компаньона? – Коричневые застекленные глаза внимательно устремились на Бернера. – Я попробую поговорить с нашим консулом.

Бернер вынул визитку с крохотной голографической эмблемой, сверкнувшей, как снежинка. Маленькой золотой ручкой написал имя клиента, передал дипломату. Снежинка еще раз сверкнула в худых болезненных пальцах дипломата и скрылась в его портмоне. Его жена, не понимая смысла разговора, громко, по-лошадиному фыркнула. Ее розовые ноздри затрепетали от горячих масс выдыхаемого воздуха.

– Хочется положить перед ней копёшку сена! – съязвила Марина.

Бернер оглянулся в сторону белого, с золотыми позументами рояля, где недвижно, будто манекены в витрине, застыли телохранители. Ахмет мгновенно перехватил его взгляд и отрицательно покачал головой. Известия все еще не было, и это раздражало и тревожило Бернера.

Он оглядел дубовый, наполненный публикой зал. Он был здесь хозяин. Его взгляда, кивка, незаметного жеста ожидал метрдотель, большой, благородный, гривастый, похожий на геральдического льва. Официанты в скромных позах стояли у стены, как канделябры, готовые по первому знаку кинуться исполнять прихоти и капризы гостей. Гости, шумно облепившие столы, хлопали пробками, зажигали бенгальские огни, хохотали, громко и раскатисто говорили, а сами постоянно и незаметно поглядывали на Бернера. Желали поймать его взгляд, улыбнуться ему; если можно, то подойти, пожать руку, перекинуться парой незначащих фраз.

Бернер привык к этим изъявлениям внимания и заискивания. Слушал гул запущенного им веселья, напоминавшего работу ткацкой машины со множеством разноцветных шелковых нитей.

– Ну-с, Андрей Федорович, не жалеете, что оказались в нашем скромном обществе? Сидели бы сейчас в новогоднюю ночь перед лесной берлогой и лапу сосали! – С этими шутливыми словами Бернер обратился еще к одному гостю, замминистра топлива, на вид простоватому, с грубым щербатым лицом, со множеством порезов и шрамов. Словно это лицо однажды вскипело и застыло, как кусок вулканической пемзы. Замминистра собирался улететь в Сибирь на медвежью охоту, на берлогу, которую подготовили ему газовики. Приглашал с собой и Бернера, но остался в ожидании важнейших сообщений.

Его жена, маленькая круглолицая башкирка, со щеками, похожими на спелые яблоки, весело лепетала, забавляя Сегала. Старый ловелас целовал ей ручки, наклонял розовую

сияющую лысину, а легкомысленная проказница хохотала и, казалось, вот-вот щелкнет по лысине лакированным ноготком.

– Не жалейте, Андрей Федорович, охота от нас не уйдет. В любую минуту можем понадобиться. – Бернер с симпатией смотрел на нефтяника, с кем связывал близкие хлопоты и радения по захвату чеченского нефтекомплекса. Замминистра должен был обеспечить Бернеру победу над конкурентами, добиться выгодного решения правительства. Сам же при этом получал для своего брата место в совете директоров вновь создаваемого концерна.

– Да нет, не жалею, Яков Владимирович, – ответил замминистра, блестя маленькими, как бусинки, плутоватыми глазками. – Медведь-то, он спит. Ну, еще недельку поспит, пока мы его не разбудим. А наше с вами дело не спит и нам спать не велит!

– Верно вы мыслите, Андрей Федорович. Нам здесь первую новогоднюю недельку побыть до первого заседания правительства. А уж потом, бог даст, и махнем в Сибирь, завалим медведя!

– Все сделаем в лучшем виде, Яков Владимирович. Уж и винтовка для вас приготовлена, и егерь у вас свой будет, и место вам самое лучшее у берлоги дадим. Пусть мишка спит и нас дожидается. – Бусинки, вставленные в темный метеорит, весело блестели. Они оба с полуслова понимали друг друга. Готовы были оказывать друг другу услуги, связанные давними интересами, опасностями, азартными делами и большими деньгами.

– А правда ли, Андрей Федорович, что наш почтенный премьер недавно был на медвежьей охоте, застрелил медведицу, от которой осталось четыре медвежонка? Так он, большой любитель природы, велел заколоть медвежат, сделал из них чучела и раздарил своим немецким друзьям. Правду говорят или врут?

– Все равно медвежата подохли бы, Яков Владимирович. Без матери зимой от холода и голода сдохли!

– Всегда говорила, что России повезло с премьером! – брезгливо оттопырила нижнюю губу Марина. – После случая с медведем никто не посмеет обвинить его в людоедстве!

Сквозь музыку, хохот, звяканье посуды, шарканье ног, сквозь горячий, густой, как варенье, воздух Бернер услышал телефонный звонок. Он был не звуком, а серебристой елочной паутинкой, протянувшейся от белого рояля к его чуткому уху.

Оглянулся: Ахмет разговаривал по мобильному. Всего несколько фраз. Отложил телефон и направился к Бернеру:

– Началось, Яков Владимирович. Несколько часов назад. Войска пошли. Доложил офицер Генштаба.

А в нем, в Бернере, – радость, бодрость, прилив энергии. Словно солнце взошло. Почувствовал, как хлынули ему в щеки, в глаза, в мышцы теплые пульсирующие валы, словно он приобщился к могучей стихии, которую сам же и вызвал.

Его невидимые миру усилия, кропотливая работа с военными, с разведкой, с членами президентской семьи, его дружба с министрами, с редакторами газет и телепрограмм, со множеством референтов и экспертов, с каждым в отдельности и со всеми вместе. Воздействие убеждением и деньгами, услугами и уговорами, равномерным по всему фронту давлением, в результате которого состоялось решение.

Войска вошли в город, и весь его замысел, существовавший как проект и чертеж, как абстрактная мечта и возможность, ожил, задвигался. Превратился в стремление колонн, в скрежет моторов, в энергию молодых активных людей, которые, не ведая, выполняют его, Бернера, волю. Эта воля, материализованная и овеществленная, тут же снова превращалась в абстракцию – в цифры, в котировки ценных бумаг, в колебание денежных курсов, в невралгию мировой экономики, мгновенно и чутко реагирующей на первые выстрелы.

Все это молниеносно, как огненное колесо, провернулось в сознании Бернера. Отвернувшись от вопрошающих глаз жены, он сказал Ахмету:

– Свяжи меня с министром обороны. Он празднует, но набери его резервный домашний номер.

Чисто вымытые, в рыжих волосках пальцы начальника службы безопасности забегали по кнопкам. Они загорелись, как прозрачные икринки. Ахмет протянул телефон, и Бернер услышал сдержанный холодный голос порученца-полковника.

– Это Бернер! С Новым годом! Если можно, попросите министра…

– Да он за столом, Яков Владимирович. Там гости…

– Уверен, ему будет приятно меня услышать…

Через минуту знакомый хрипловатый, разогретый голос министра произнес:

– Яша, дорогой, здравствуй!

– С Новым годом, товарищ министр, с новым счастьем! И разумеется, с днем рождения!

– Спасибо, дорогой. Я тебя сегодня увижу?

– Если ты не передумал, то как уговаривались. Утречком приеду, попаримся.

– Все натоплено! Веники размочены, пиво охлаждено!

– Это правда, что войска пошли? Ведь был другой срок!

– Переиграли… Были новые вводные, с самого верха. Приезжай, расскажу…

– Ты обещал, что инфраструктуру не повредят. Заводы и нефтехранилища сохранят. Ты уж дай приказ своим соколам, чтобы подальше бомбили.

– Не волнуйся, они у меня ювелиры. За сто километров – в левый глаз!.. Приезжай, потолкуем. Я свое слово сдержу, сдержи ты свое!

Кнопки телефона погасли. Малый прибор пропустил сквозь свои лабиринты пучок информации и замкнулся. Так улитка прячется в ракушку, оставляя снаружи чуткий рожок антенны.

Бернер вернулся к столу, бодрый, уверенный, одаряя гостей радушием.

– Сорока на хвосте добрую весть принесла? – Вездесущий Сегал заметил его темпераментный разговор по телефону. – Неужто рост акций на лондонской бирже? Или падение цен на недвижимость на Канарах?

Вопрос был шутовской, и Бернер не рассердился на старого шута:

– Отличные вести! Мы с вами хорошо живем? Так вот, будем жить еще лучше!

Он обернулся к оркестру, таинственно сиявшему сквозь еловые ветки своими саксофонами и электрогитарами. Оркестр углядел его жест – щелчок белых пальцев – и грянул какую-то бесшабашную бравурную музыку, словно высыпал из мешка кучу золотых монет. И по этим монетам заскакала, заплясала какая-то хмельная пара. Толстенький молодой мужчина зацепил большими пальцами жилетку, смешно ее оттянул, замелькал в воздухе ловкими пухлыми ножками.

К Бернеру через зал сквозь танцующее скопище пробирался оператор с телекамерой и молодая, в очень короткой юбке журналистка. Пока она подходила, Бернер успел жадно оглядеть ее открытые ноги, глубокий вырез платья, в котором круглилась, колыхалась свободная от лифа грудь. Телекамера появилась здесь по его замыслу. Этот праздник надлежало показать по телеканалу, который он контролировал. Яства, музыкальные номера, именитых гостей, их шутки, новогодние остроты и пожелания.

Журналистка приблизилась к столу и в первую очередь подошла к Бернеру. Улыбнулась сочными, в перламутровой помаде, губами. Склонила к нему свои полные горячие плечи. Протянула гуттаперчевую шишечку микрофона.

– Господин Бернер, вы – главный устроитель нашего чудесного праздника. Зрителям хотелось бы узнать, что вы переживаете в эти чудесные минуты. Несколько слов нашим зрителям!

Камера медленно, пристально рассматривала стол. Серебряные подсвечники. Оплывший воск. Дорогой хрусталь. Фарфоровое блюдо с дымящимися нежно-розовыми креветками. Фаянсовая супница с красными, растопырившими клешни омарами. Хромированные инструменты для раскалывания рачьих панцирей. В камеру заглядывали, улыбались – русская княгиня с голубоватыми искусственными зубами, американский дипломат с телескопическими глазами, седовласый сытый деятель консервативной партии. Бернер, готовясь к ответу, чувствовал запах духов, исходящий от журналистки, и волнующий ароматный жар ее близкого молодого тела. Он испытал острое волнение, желание поцеловать ее перламутровые губы, втянуть, всосать их в себя, захватить ладонью ее спину, почувствовать сквозь платье ее подвижные мышцы.

Эта внезапная ослепляющая страсть была знакома ему. Являлась реакцией на перевозбуждение. Защитой от избытка нервной энергии. Спасала его от перегрузок и стрессов.

Его беременная жена, которую он продолжал любить и желать, в последние недели обрела неуловимо новые свойства, отдалившие ее от Бернера. Сейчас, взглянув на ее плотный, обтянутый шелком живот, Бернер желал не ее, а эту молодую доступную женщину, чей белый, без единой морщинки лоб, опушенный золотистыми сияющими волосами, был так близок, что можно было прижаться к нему губами.

– Итак, несколько слов нашим телезрителям, господин Бернер!

– Хочу, чтобы все россияне в эту новогоднюю ночь почувствовали тепло и любовь! – Бернер смотрел в глазок телекамеры, улыбался, щурил темные лучистые глаза. Знал, что хорош, энергичен и убедителен. Слова, которые он произносит, будут бережно, как драгоценности, перенесены в «Останкино» и с огромной, до облаков, колокольни сорвутся в мир, брызнут силой и свежестью. – Наши трудности и огорчения временны. Они скоро минуют. У руля Российского государства стоят решительные, смелые люди. Мы знаем, как действовать, как сделать Россию великой! С Новым годом, друзья!

Последнюю фразу он произнес особенно душевно и проникновенно, зная, что будет услышан в каждом доме, в каждой семье. Окормлял людей своим жизнелюбием и уверенностью. И вдруг почувствовал бесшумный удар в грудь. Будто прилетела и попала в него пуля. Проникла в тело, опустилась ниже, в живот, и там превратилась в крохотный живой зародыш. Этот зародыш зашевелился, стал расти, превращаясь в малый эмбрион, в подвижный пульсирующий червячок. И это ошеломило, испугало его. Он был беременен, и залетевший в него, как пуля, сперматозоид был выпущен из космоса, пролетел огромные пространства и нашел его здесь, в душном зале, за новогодним столом.

– Вы прекрасно сказали, господин Бернер! – улыбалась ему журналистка, протягивая микрофон к соседней княжне.

Он молчал, не понимая, что с ним содеялось. Кто ворвался в него, угнездился среди его разгоряченных внутренностей.

Глава шестая

Кудрявцев, гонимый страхом, добежал до углового трехэтажного дома, слепого и темного. Хотел обогнуть, углубиться в черноту неосвещенных привокзальных строений. Но ему померещилось, что вдоль перрона перемещаются люди, вспыхнул и погас огонек сигареты. Он отшатнулся, стал огибать дом с другой стороны, ломая кусты, спотыкаясь о детские песочницы и скамейки. И опять ему почудилось, что за кустами притаились стрелки, ударят в упор очередью. Он повернул, побежал вдоль стены обратно, туда, где полыхала и грохала площадь, но это жуткое громыхание, давление жаркого света остановили его. Бессознательно, спасаясь от огненной, пускающей гранаты и пули площади, он вбежал в подъезд, в непроглядную темноту. Спотыкаясь о ступени, хватаясь за поручни, он побежал наверх, привыкая к темноте, видя в сумраке лестничных клеток номера на квартирных бирках. Одна из квартир, как ему показалось, была приоткрыта. Пугаясь, он вбежал на верхний этаж, ткнулся в запертую чердачную дверь и замер. Опустился на пол, тяжело дыша, бессильно утыкая лицо в пыльную ветошь, чтобы не видеть багровых отсветов, брызгающих во все стороны трассеров.

Он их не видел, сжав обожженные веки, но слышал внутри себя, как грохочет набухшее, переполненное дурной кровью сердце, а снаружи стреляют пулеметы, лопаются наливники, взрываются боекомплекты подбитых танков.

Он сидел, спрятав голову, парализованный, желая исчезнуть, пропасть, стать невидимкой, уменьшиться до размеров сверчка, сжаться в одну-единственную клетку и в таком состоянии пережить, перетерпеть катастрофу. Но этот первобытный, пещерный ужас стал сменяться осознанным страхом. Его помраченное сознание стало постепенно проясняться, и в этом, еще сумеречном, оглушенном сознании возникли первые проблески воли. Опасность исходила отовсюду. От площади, наполненной врагами, ищущими для своих гранат и пулеметов все новые и новые цели. От темных, окружающих дом строений, где притаилась засада, наблюдали зоркие злые глаза. От дома, где он находился и чьи полузакрытые двери и неосвещенные окна могли внезапно раскрыться и загореться, и из них выскочат разъяренные люди, схватят его, поведут на площадь.

Он сидел, прижавшись к чердачной двери, зарывшись в какую-то паклю, и ум его, пульсирующий и горячий, словно в нем лопнул сосуд, искал спасения.

Если его не схватили сразу, позволили вбежать в подъезд, слышали, как он протопал по лестнице, и никто не погнался следом, не включил свет, не зажег фонарик, – это значило, что либо жильцы напуганы до смерти, затворились в квартирах, либо их не было вовсе. И тогда оставаться в пустом, покинутом доме было не столь опасно, как на огненной площади.

Он поднялся и, стараясь не шаркать, спустился на нижнюю площадку, приложил ухо к дверям. Слушал, надеясь уловить звуки жизни – шаги, говор, звяканье посуды. Но было тихо. От дверей веяло тлением остывающего жилья.

Он подходил к дверям, сначала на верхнем этаже, потом и ниже, прислушиваясь, не раздастся ли человеческий голос или лай домашней собаки, или стук передвигаемых стульев. Но слышался только стук пулеметов, грохот боя. Сквозь окно, выходившее на лестничную клетку, возникали огненные шары, которые катались и скакали по площади.

Дверь на втором этаже была приоткрыта. Не заглядывая в нее, он почувствовал, что квартира пуста. Не стал в нее заходить, а подошел к окну, к подоконнику, на котором стояла пустая консервная банка с окурками, приготовленная жильцами-мужчинами, выходившими на лестницу покурить. Прижался к подоконнику, стал смотреть наружу.

Площадь была похожа на огромную сковородку, озаренную красными углями. На этой сковородке шипели, отекали соком, брызгали бесформенные подгорающие ломти.

Этими ломтями была бригада. Танки с тяжелыми пушками, остроконечные боевые машины пехоты, горбатые неуклюжие грузовики, толстобокие цистерны с горючим – все превратилось в расплющенные обгорелые груды, среди которых клубились ядовитые дымы, краснели фитильки горящих катков и скатов.

Среди этого жарева, ручьев кипятка, жира и слизи была его рота с неопытными неукомплектованными экипажами, наивными солдатами, украшавшими пульты и десантные отсеки машин вырезками из журналов, фотографиями невест, самодельными пластмассовыми гномиками.

Среди непроходящего страха, побуждавшего его чутко и пугливо вглядываться, трусливо бежать и спасаться, возникало мучительное изумление, не связанное с его собственной жизнью и опасностью, грозящей смертью. Он пытался уразуметь, что случилось. Откуда пришло несчастье. Чья бессмысленная и тупая воля, чья бездарная ошибка затолкали бригаду в ловушку. Откуда взялись эти яростные и уверенные стрелки, отважные и безжалостные бойцы, истребившие бригаду. Что означает этот разгром? Как далеко вдоль улиц с горящей техникой, обожженными и застреленными солдатами протянулась рваная огненная трещина разгрома. К окраинам? К пригородам? К окрестным поселкам и селам? Или дальше, в степь, в предгорья, к русским городам, к отдаленным гарнизонам, до самого Кремля с дворцами и храмами?

В этом разгроме погибла его рота, его бригада, а он, ротный, остался жить. Бросил в саду чеченского дома зарезанного лейтенанта. Бросил на площади ротную колонну, в которой сгорели солдаты. Что делать ему, стоящему у окна пустого безлюдного дома, одному, без оружия, без воли, без сил, взирающему на побоище?

Нужно было уходить. Прорываться из враждебного города сквозь засады, ловушки в ночную холодную степь, где нет дорог и селений. Пустыми полями и выгонами, укрываясь от глаз врагов, двигаться только ночью, как зверь. Выдраться из этой жестокой земли туда, где родные города и деревни, русские лица и речь, где есть еще армия, есть аэродромы с фронтовой авиацией, парки с самоходными гаубицами, неразгромленное, нераспавшееся русское воинство. Туда, в Россию, он доберется и расскажет о разгроме бригады.

Он заторопился, засобирался. Оглядел лестницу, глухие двери квартир, подоконники с консервными банками. Испытал к ним чувство, похожее на благодарность, за то, что приютили его.

«Спасибо дому, пойдем к другому», – повторял он машинально, спускаясь к выходу.

Выглянул наружу вдоль фасада, собираясь тенью выскользнуть и шмыгнуть. Прокрасться к железнодорожным путям и по шпалам, прячась в полосе отчуждения, уйти из города. Он уже собирался оставить дом, но увидел, как в отблесках горящих машин, пригибаясь и семеня, приближаются двое. Он не видел их лиц, но по испуганному семенящему бегу, по сутулым спинам, втиснутым в плечи головам угадал своих. Не чеченцев, которые бежали бы вольным сильным скоком преследователей, а своих, пугливых, гонимых.

Двое пробегали мимо подъезда, тяжело шаркали. Кудрявцев тихо свистнул им и позвал:

– Эй, мужики!..

Они остановились, ошалело топтались, не зная, кинуться ли им прочь или внять этому свисту и окрику, не дожидаясь, когда ударит в них из тьмы автоматная очередь.

– Сюда, говорю!.. Ко мне!.. Свои!..

Они нерешительно подошли, всматриваясь в черный подъезд, не видя Кудрявцева и все еще опасаясь выстрелов. Он впустил их в дом и здесь, в безветренном подъезде, почувствовал, как едко, дымом и каленым железом, пахнет их одежда. Этот дым, железный смрад, вместе с потом испуганного разогретого тела, был запахом многих случившихся недавно смертей, от которых они убегали.

– Какой батальон? – спросил Кудрявцев, всматриваясь в лица беглецов. Это были молодые лица солдат, загнанные и испуганные, с бегающими ошалелыми глазами, с заостренными от перенесенных страданий носами. – Из какого, спрашиваю, батальона?

– Из второго, – выдохнул один полушепотом, худой и нескладный. И в этом выдохе был клекот слез, хрип обожженных легких, жалоба брошенного, никому не нужного ребенка.

– Где комбат? Где ротный?

– Поубивало, – ответил второй, и в его ответе было больше твердости. Низкорослый, крепкий, он был набычен и зол. Вместе со страхом в нем присутствовало чувство отпора, неизрасходованный азарт недавнего боя.

– Туда нельзя! – Кудрявцев кивнул в сторону одноэтажных домов, куда направлялись солдаты. – Там перехватят. Нужно к вокзалу и по насыпи. Меньше жилья и людей…

Они увидели, как среди волнистых огней, убегая от них, движется еще одна тень, мимо дома, все в ту же сторону, к низким привокзальным домам. Тень приближалась, слышалось тяжелое шмяканье подошв, надсадное дыхание.

– Эй! – крикнул Кудрявцев и тихонько присвистнул. – Заворачивай сюда!

Человек остановился, и Кудрявцев негромко, властно, стараясь не спугнуть, твердо и требовательно позвал:

– Иди сюда, говорю… Свои…

Человек подошел. Это был сильный рослый солдат в расстегнутом бушлате, с круглой, наголо стриженной головой. Всматривался в зев подъезда, откуда его позвали.

– Там в проулках полно чеченцев. Отловят. – Кудрявцев пропустил солдата в подъезд, и тот, оказавшись среди своих, сразу перестал торопиться и словно осел, обмяк.

– Из какой части? – спросил Кудрявцев.

– Из зенитно-ракетной батареи. Водитель, – ответил солдат.

Кудрявцев не стал его спрашивать, почему, находясь в батальоне зенитных ракет, следовавших в замыкании, он оказался на площади среди головных машин, горел вместе с передовыми танками и бээмпэ.

Они стояли в подъезде, и Кудрявцев, еще недавно охваченный ужасом одинокого, уцелевшего в побоище человека, вдруг почувствовал облегчение. Эти внезапно появившиеся перепуганные солдаты были для него бременем, но бременем желанным, спасительным. Возвращали ему командирскую роль, требовали осмысленного, ответственного поведения. И, хотя он молчал и солдаты молчали, они тоже почувствовали в нем командира. Теснились к нему, ожидая от него разумных, спасающих их жизни приказов.

Ни у одного из них не осталось оружия. Свой автомат Кудрявцев потерял в саду во время погони. У батарейца-зенитчика оказался штык-нож, а у его товарища – карманный фонарь. Оружие было рядом, в изобилии, на площади. Но оно взрывалось, горело, пускало вихри трассеров, и никто из них не думал вернуться туда, откуда их только что вынесло безымянное чудо.

Они сидели на ступеньках пустого подъезда, курили сигарету, одну на всех, прикрывая ладонями красную бусину. Затягивались, передавали соседу. Кудрявцев принял горящий окурок, посветил себе на часы. Под красным угольком табака бежала тонкая, хрупкая стрелка, уже перепорхнула полночь, уже наступил Новый год, и этот Новый год Кудрявцев встречал в ледяном подъезде незнакомого дома, в чужом страшном городе, на вокзальной площади, где только что погибла бригада. Медленно остывали прозрачные от огня бортовины наливников. Танки с опавшими пушками уродливо склещились, как мертвые, забодавшие друг друга носороги. Что-то сыпалось и горело белым магниевым светом в кабинах грузовиков. И он внезапно подумал о генерале, изображавшем из себя Ермолова, чьи восточные загнутые чувяки ступали по карте Грозного. Испытал к генералу моментальную, как порез бритвы, ненависть.

– Сейчас пойдем по одному. С интервалом в десять метров… Если засада, бежим все врассыпную… – сказал Кудрявцев, размазывая по ступенькам окурок. Уже собирался подняться и идти наружу, туда, где тускло светилась железнодорожная колея. Но вдруг увидел, как у вокзала в темноте зажглись две фары, двинулись вперед. На площадь, доселе невидимый, притаившийся в тени, покатил грузовичок. В кузове тесно стояли вооруженные люди, грузовик катил, высвечивая фарами сначала белый снег, а потом, приближаясь к побоищу, расплывшуюся воду и жирную гарь. Другой грузовичок зажег фары и покатил от другого крыла вокзала. Кудрявцев отшатнулся обратно, в глубь подъезда, испуганно скрываясь в темноте, благодаря кого-то, задержавшего его на мгновение, не подставившего под пули стрелков.

«Спасибо дому…» – повторял он опять случайно залетевшую фразу, глядел, как неторопливо проезжает грузовик. Люди с автоматами вцепились в борта, смотрели все в одну сторону, на площадь, на ровное трескучее пожарище.

На площадь с разных сторон, из разных углов, из-за заборов, из-под земли, из веток деревьев стали выходить люди. По одному, малыми и большими группами. Осторожно, целясь из автоматов и гранатометов в горящие короба. Иногда выпускали короткие очереди. Обступали площадь, приближались к ней пешком, на мотоциклах, на легковушках и грузовичках. Темные, плоско отпечатанные на зареве, напоминали наскальные рисунки охотников с копьями, гарпунами, острогами, окружавших огромного, убитого ими мамонта.

Они грелись у пожарища, созерцали свою добычу, словно раздумывали, как к ней получше подступить. Еще не знали, мертв ли сраженный зверь, не ударит ли в предсмертном рывке отточенным бивнем.

Одни заняли открытую позицию по периметру, держа под прицелом остатки подбитой техники. Другие, держа на весу оружие, с разных сторон стали просачиваться в скопление мертвых машин. Исчезали и появлялись среди огня и дыма. Вскакивали на броню, прыгали на башни, скрывались в люках. Их освещал огонь, и они, озаренные красным светом, сновали среди уничтоженных колонн. Там, где они появлялись, время от времени слышались одиночные выстрелы, и Кудрявцев понял, что там добивали раненых.

Спасенный от смерти, безоружный, он пугливо притаился в темном подъезде. А там, у штурвалов и в десантных отделениях, добивали его солдат, обгорелых, оглоушенных и в смерти не выпускавших свои спусковые крючки и гашетки.

Было тихо. Динамики, недавно изрыгавшие пузырящийся рев, молчали. Фонари, недавно окруженные прозрачным синим сиянием, не горели. Мигающая елка исчезла. Но было светло от множества костров, от горящего разлитого топлива, от тлеющей резины. И в тишине раздавались крики победителей, редкие хлопки выстрелов.

Улица, по которой пришла колонна и стала на площади, заслоненная домами, тоже светилась. Малиновое пламя и густой, похожий на варенье дым клубились у фасадов, отражались в окнах. Там, на невидимой улице, горела остановленная, уничтоженная колонна. Среди магазинов, троллейбусных остановок, киосков тянулись черные остовы с тлеющей вонючей начинкой.

Кудрявцев смотрел на красные дымы, липкие клубки огня. Ему казалось, дующий с площади ветер вместе с вонью нефти, горелой резины и железной окалины доносит сладковатый тошнотворный запах сгоревшего мяса.

На это зловоние, на жирный дым сгоревшей плоти стали слетаться птицы. Разбуженные боем, потревоженные на окрестных свалках взрывами и огнями, закружили над городом, боясь приблизиться к сверкающим в небе трассерам, белым сполохам, струям металла. Теперь, когда взрывы утихли, в красном небе бесчисленными тенями и росчерками, косыми клиньями закружило воронье. Снижалось, садилось на крыши, оглашало небо жадными нетерпеливыми криками.

Кудрявцев с испугом и отвращением слушал нарастающий звенящий гул приближающихся вороньих стай. Тех самых, что днем провожали колонну, заглядывали с высоты в люки, целились черными клювами, метили машины зловонными белыми кляксами. Словно ведали о скором побоище, выбирали себе добычу, пересчитывали ее маленькими злыми глазами.

Крики ворон, редкие автоматные очереди, вялое колыхание дыма, снующие ловкие фигуры врагов, и он, Кудрявцев, бессильный, униженный, кем-то сохраненный до времени, поставлен в черном подъезде, чтобы все это видеть и знать.

Можно было выскользнуть из подъезда и, сливаясь с фасадами, пронырнуть в темноту и дальше – по кустам и песочницам, по задворкам, наугад, в проулки и улочки, к железнодорожной колее, и та, петляя среди складов, брошенных вагонов, нежилых фабричных окраин, выведет их из города в спасительную степь. Но страх удерживал Кудрявцева. Чеченцы, увлеченные победой, не заметят четверых беглецов. Но птицы, злые и чуткие, кинутся следом, станут преследовать, истошно кричать, пикировать в темноте, ударяя острыми клювами. Наведут погоню, чеченцы, окружив беглецов, расстреляют их в глухом закоулке. Эта безумная фантазия удерживала Кудрявцева, и он не пускал солдат, оставался в подъезде.

Он увидел, как на площадь выкатили две легковые машины. Остановились у кромки пожара. Из них вышли люди с телекамерами, азартно, торопливо забегали. Нетерпеливо снимали близкие горящие танки, вооруженных стрелков. Водили объективами по небу, снимая птиц, а потом, насытившись первыми случайными кадрами, стали медленно, на выбор снимать подбитую технику. Расставляли на ее фоне боевиков. Заставляли их бежать, стрелять на ходу. Наклоняли объективы к земле, фиксируя что-то, разбросанное бесформенными комьями. Уходили в глубь горевшей колонны, пропадали, а потом возвращались из огня. И было видно, как блестят их потные лица, как отражается огонь на их мокрых лбах и щеках.

Чеченцы, углубившиеся в скопления машин, выходили обратно. Волокли на плечах связки автоматов, захваченные пулеметы. Складывали их на пустом месте, наращивая из них груду. Телевизионщики снимали трофеи, снова нагружали ими победителей. Заставляли разбирать разложенное на земле оружие, а потом картинно кидать на асфальт. Те охотно позировали, гоготали, слышался звяк металла. Кудрявцев испытывал отвращение к себе, трусливо затаившемуся и бессильному. Не мог помешать этому празднику победителей, глумлению над оружием, вырванным из рук убитых, еще не остывших товарищей.

На площадь, огибая тлеющие обломки, не приближаясь к склещенным танкам, выехал кортеж машин. Глазированный, длинный, как оса, лимузин, юркие «Жигули», упругие подскакивающие военные легковушки. Остановились на освещенном месте. Из легковушек выскочила охрана, ощетинилась стволами, образуя вокруг лимузина кольцо. И из него поднялся, шагнул человек, худой, неторопливый и властный. Повернулся лицом к пожарищу, и Кудрявцеву издали показалось, что он различает на узком худощавом лице колючие кошачьи усики. Узнает генерала Дудаева.

Мятежный генерал, казавшийся еще недавно почти несуществующим, нереальным, вызывавшим лишь легкую досаду и раздражение, вдруг возник перед ним как воплощение его поражения и позора, как главный виновник случившейся непоправимой беды. Площадь в обломках машин, с остатками испепеленной бригады олицетворялась со стоящим вдалеке человеком, чье лицо, обращенное к огню, краснело, как малая капля сока. И не было снайперской винтовки, гладкого приклада, голубой просветленной оптики, в которой бы трепетали кошачьи усики, тонкий хрящеватый нос.

К человеку со всех сторон подбегали люди. Вздымали вверх кулаки с автоматами. Кричали, посылали в небо трассирующие очереди. Генерал оборачивался на этот салют, поднимал вверх руку.

Телевизионщики снимали, крутились волчками среди восторженных стреляющих людей. Все двигалось, мешалось, завихрялось. Из этого шумного нестройного клубка, словно в нем начинала раскручиваться жесткая направляющая пружина, сам собой возник хоровод.

Люди, цепляясь один за другого, бежали по кругу неровным припадающим бегом. Вздымали руки, выдыхали неразборчивые, похожие на стенание клики. Хоровод разрастался, в него встраивались все новые и новые стрелки, торопились принять участие в победном танце. Славили кого-то, взиравшего на них с небес. Славили стоящего среди них полководца. Славили свою победу, сокрушившую грозного, нашедшего смерть врага.

Кудрявцев смотрел на древний победный танец, на мелькающее в красных тучах воронье, на остатки бригады. И испытывал желание выть и стенать от тоски. Видел, как из губ генерала излетает облачко пара.

Глава седьмая

Наступил пик новогоднего празднества. Время, когда гости еще не до конца опьянели, не утомились, а пребывали в радостном возбуждении, требовали зрелищ и острых переживаний. На этот случай Бернером был приготовлен сюрприз. Он оглядел зал. Нашел стоящего у дверей гривастого, похожего на британского льва метрдотеля. Сделал знак рукой. Метр величаво поклонился, исчез в дверях, и смолкнувший было оркестр заиграл бравурный марш из «Аиды».

Дубовые двери широко растворились, и в них появились четыре носильщика. Черные, голые по пояс, в набедренных повязках, с кольцами в носах и ушах. В мускулистых руках они держали носилки, в которых было сооружено подобие гнезда из еловых веток, ваты, золотого дождя. В гнезде лежало огромное яйцо, сквозь полупрозрачную оболочку таинственно изливалось млечное сияние, и казалось, яйцо живое, волшебное, таит в себе зародыш.

Носильщики, студенты из африканских стран, нанятые Бернером для этой экзотической роли, поставили свою ношу на землю. Стали поодаль, скрестив на груди руки.

Музыка зазвучала бравурней. Оболочка яйца пульсировала, вздрагивала, словно бился, просился на свободу живой растущий птенец. Лучи прожекторов сосредоточились на яйце, и оно вдруг лопнуло, распалось на осколки, и из него, переливаясь, слепя, выпорхнула волшебная пернатая женщина, жар-птица, опушенная павлиньими перьями, с бриллиантовым хохолком. Голая по пояс негритянка, с круглыми бедрами, бархатно-влажной грудью, с крепкими, сиреневыми, как сливины, сосками, белозубая, с выпученными фарфоровыми белками. Выпрыгнула на пол, двигая тазом, к которому был прикреплен сказочно красивый волнистый хвост.

Оркестр заиграл румбу. Танцовщица на высоких золотых каблуках, голая, страстная, взмахивая сильными руками, колыхая влажной, словно натертой маслом грудью, танцевала. И от каждого ее движения огромный павлиний хвост волновался, переливался, как флюоресцирующее море, и бриллианты на хохолке посылали каждому многоцветный волшебный лучик.

Гости, ослепленные, пораженные, взирали на танец женщины-птицы. Тянулись к ней, хватали губами, ноздрями жаркий отлетающий от нее воздух. Купались в этом воздухе, в огненном клубке музыки, красоты и страсти.

Бернер был рад, что сюрприз его удался. Мулатка, выписанная из Рио-де-Жанейро, прославленная танцовщица кабаре, победительница бразильского карнавала, здесь, в морозной новогодней Москве, топотала на золотых каблуках, танцевала раскаленную румбу.

После великолепного представления, когда женщина-птица в сопровождении своих чернокожих стражей упорхнула из зала, наступила пауза. Гости вставали с мест, прогуливались вдоль столов. Во время этого перерыва многие хотели подойти к Бернеру, высказать ему свое почтение, поздравить с Новым годом. Но было несколько и таких, к кому он сам был намерен подойти, подсесть ненадолго за столик. Один из таких гостей сидел вдалеке, под готическим витражом, за которым, казалось, наливается ало-голубая заря. Бернер среди тостов, шуток, какофонии ни на секунду не упускал его из виду.

Между тем через зал, раздвигая расступающихся гостей, приближался Генерал. В штатском, плотно сидящем костюме, слегка выворачивая вперед ступни и колени, опустив вниз тяжелые руки с круглыми сжатыми кулаками. Голова Генерала с короткой челкой напоминала большой валун, в котором зубилом были пробиты узкие губы с нагловатой ухмылкой, пробуравлены дырочки умных и жестоких глаз.

Бернер поднялся навстречу Генералу. Чувствуя на себе взгляды зала, они картинно обменялись рукопожатиями.

– Пожелаю вам, Яков Владимирович, бычьего здоровья, змеиной верткости, армейской смелости. И чтоб чувствовали себя, как в танке! – Генерал ухмыльнулся, обнажив короткие желтоватые зубы. Глаза его блестели, но не дружелюбием, а холодной жестокостью.

– А я вам пожелаю того, что нагадала одна колдунья, ученица покойной Ванги. Она была у меня в гостях и гадала на видных политиков. Вы у нее проходили как бубновый король.

– И что нагадала старая ведьма?

– Нагадала царство, и славу, и Москву златоглавую. Сказала, что Россия вас ждет не дождется. И вы свою корону возьмете. Но злые людишки попробуют ее отобрать. Шестерки, восьмерки, всякая там сорная масть. Надо полагать, она пророчила вам президентство, предостерегала от коммунистических козней.

Генерал мыслил себя следующим президентом России. В его каменном лбу, как лампочка, горела единственная неугасимая мысль – как стать президентом. Он заключал союзы, предлагал себя самым разным, часто несовместимым политическим группировкам. Ездил на смотрины в Америку и Европу. Обещал все и всем и особенно дорожил знакомством с банковским сообществом, ожидая от него денег на выборы. Бернер в кругу своих знакомых подсмеивался над Генералом, над его обликом пахана, на деле же серьезно рассматривал его на роль диктатора, способного железной рукой подавить хаос, усмирить народный бунт, подогреваемый коммунистами. Банкиры отдадут ему власть взамен на безопасность и сохранение капиталов.

– У старой ведьмы хороший нюх! – смачно сказал Генерал. – В вашем окружении, Яков Владимирович, люди с хорошим нюхом.

– И с хорошими деньгами!

– Вы обещали мне встречу с банкирами. Я хотел бы выступить перед ними, естественно, в узком кругу. Изложить мои взгляды на будущее России. Я дам гарантии в обмен на поддержку. Потом эту встречу станут сравнивать со встречей Гитлера и немецких банкиров, где он обещал разгромить коммунистов.

– Для моих еврейских друзей это весьма щекотливое сравнение! – засмеялся Бернер, трогая Генерала за рукав, в котором прощупывались литые мускулы бывшего десантника. – Однако они выше предрассудков и видят в вас опору новой государственности.

Они смотрели друг другу в глаза, освещенные прожекторами, которые чья-то услужливая рука направила на них с антресолей. Бернер всматривался в маленькие, в каменной голове, жестокие глаза Генерала и чувствовал, как тот его ненавидит. Отвечал ему тем же, зная, что ловко и точно использует Генерала, а потом в нужный момент избавится от него. И что Генерал, посылая ему из каменной головы тонкие лучики ненависти, думает о нем то же самое.

– До скорой встречи в новом году! – сказал Бернер, раскланиваясь.

– До скорой, – ответил Генерал и пошел вперед по прямой мимо столов, куда-то к стене, словно хотел проломить ее, как чугунная баба, и, оставив пролом, исчезнуть в синей морозной метели.

Бернер не оставался один. К нему тут же подошел, опередив остальных, известный телеведущий. Молодой, очаровательный, с пушистыми бровями, нагловато и мило ухмыляющийся. На нем был черный великолепный сюртук, в петлице которого красовался пунцовый бутон розы. Он напоказ запанибрата обнял Бернера, и объятия его, как показалось Якову Владимировичу, были чуть дольше и теснее обычных.

– Ну что, Яков, поздравляю тебя! – Тележурналист нарочито громко, на публику, называл Бернера на «ты». – Началась, слава богу, война в Чечне! Русские танки идут по Грозному!

– Ты уже знаешь? – удивился Бернер. – Откуда?

– Космическая разведка засекла колонны танков в центре Грозного!.. Вот мой приемник, прямая трансляция!.. – Он коснулся своего пунцового бутона, успев посмотреть на молодую, идущую мимо женщину.

Телеведущий, непредсказуемый, талантливый, еще недавно дружил с оппозицией, вел яркую, отважную, беспощадную телепрограмму, где воспевал Советский Союз, русский патриотизм, призывал едва ли не к восстанию. Бернеру удалось очаровать пылкого и самовлюбленного журналиста. Предложил ему большие деньги, дал престижную телепрограмму, сделал выразителем своих взглядов и интересов.

– Знаешь, Яков, ведь это – моя война! Я ее ждал, вымаливал у бога и вот наконец пошли танки! Я буду на этой войне, непременно! Ты мне дашь денег? Дай денег на эту войну!

– Карманные расходы на локальный конфликт? – засмеялся Бернер, любуясь своим темпераментным собеседником, его пунцовым бутоном, черной кружевной рубахой, сияющими от восторга глазами.

– Согласись, любая война прекрасна! Нормальные люди ждут, когда она разразится, и стремятся на нее! Ибо есть эстетика войны, эстетика разрушения и крови! Я сделаю фильм об этой войне, и это будет метафора нашего времени! Дай денег на кино!

Бернер чувствовал яростную больную страсть этого красивого неуравновешенного человека. Мир, в котором они оба жили, был распадающимся миром, похожим на огромного, выброшенного на берег кита. Этот кит сгнивал, в нем открывались зловонные провалы, из которых изливались яды и зловонья гниения, выпучивались разбухшие внутренности, обнажались скользкие белые ребра. На туше дохлого гиганта сидели маленькие крепкие хищники – зверьки, насекомые, птицы. Вонзали свои клювы, зубы и хоботки в рыхлую падаль. Питались ее гнилыми соками. Бернер и этот красавец с черным жабо и розой были из числа этих хищников. Они нашли друг друга, нуждались друг в друге. Вместе, каждый по-своему, рвали рыхлые истлевшие волокна кита.

– Видишь ли, эта война – как булыжник, брошенный в наше политическое болото, – сказал Бернер. – Сразу возникнут волны и всплески, общество разделится на «за» и «против». Возникнет страшная путаница, сбой, нелепые союзы и расслоения. Мы должны воспользоваться этими всплесками, оседлать общественное мнение и повести его в нужном направлении. В этом твоя задача! Я дам тебе денег на «твою войну», но ты на эти деньги выполнишь «мою работу»!

Оба засмеялись, глядя друг на друга с наслаждением. Понимали, ценили друг друга, видели свое сходство и подобие, общность своих целей и совпадение путей до той неизбежной точки, когда один из них блистательно и вероломно предаст другого. Они разлетятся, обмениваясь проклятиями, в глубине души благодарные за этот временный великолепный союз.

– Поверь, – журналист приобнял Бернера за талию своей крепкой эластичной рукой, – то, что ты сделал для меня, я никогда не забуду. Я недавно купил еще одну лошадь, великолепную ганноверскую кобылку! Приезжай, посмотри!

– Приеду в твой манеж, покатаемся…

Они разошлись, провожаемые восхищенными взорами гостей. Теперь был черед Бернера подойти к тем столикам, где его поджидали. И первым, к кому он направился, не спуская взгляд с золотистых свечей, двигаясь по лучу, соединявшему его с сидящим в отдалении человеком, был его друг, закадычный и сердечный, Лев Вершацкий, банкир, богач, меценат, любитель утонченных развлечений и мастер крупнейших финансовых авантюр, создававших внезапные плотины и запруды на пути финансовых рек. Эти реки по его воле меняли русла, останавливались, взбухали, разрушали и опустошали обширные экономические пространства. Обрекали на засуху и вымирание зоны Севера, Сибири, Среднерусской равнины и, напротив, устремляясь на засохшие ландшафты, порождали цветение и бурный рост на

Урале, в Тюмени, в портовых городах и окраинах. Несметно обогащали его банки и корпорации, создавая на руинах конкурентов банковскую империю Вершацкого.

Вершацкий был богаче и удачливей Бернера. Их дружба, длившаяся издавна, когда оба, скромные советские инженеры, осваивали системы компьютерного управления отраслью, – их нынешняя дружба была сложным сплетением симпатий, взаимной поддержки, ревностной зависти и соперничества. Причиняла Бернеру мучительное, непереносимое страдание, желание уничтожить друга.

Он и будет через несколько дней уничтожен. Ибо Ахмет, начальник безопасности Бернера, уже тайно следит за Вершацким. Наружка отслеживает места его пребывания, ищет щели и скважины в его обороне, просчеты и промахи его охраны, чтобы улучить несколько кратких минут и послать в него пулю снайпера.

Бернер подсел к столику, который занимали Вершацкий и его молодая жена, третья по счету, как и у самого Бернера. Красавица Натали была топ-моделью, чье очаровательное лицо, длинные ноги и высокая грудь прошелестели, промерцали по лакированным страницам модных журналов, загорались в аметистовых лучах уличных рекламных щитов.

Он подсел к столику, на котором красовался букет белых роз, посланных Бернером, – знак того, что он их видит, любит, непременно подойдет.

– Яша, сегодня ты просто в ударе! Эта мулатка, эта птица феникс! Ты превзошел себя самого! Дай мне ее напрокат, всего на два дня! – Вершацкий смеялся, радостно встречая друга. Протянул ему длинную смуглую ладонь. На его матовом бледном лице переливались нежностью и радостью миндалевидные глаза. Черные, отливающие стеклом волосы были расчесаны на косой пробор. Над красивым с горбинкой носом срослись густые синеватые брови.

– Не давайте ему, Яша, вашу птицу. Он ее вернет без перьев и в жареном виде, – томно, подставляя под поцелуй белую руку, произнесла Натали.

– Ни в чем не могу отказать Левушке! Птицу, рыбу, бегемота – все отдам! – ответил Бернер, целуя теплые, пахнущие духами пальцы.

Их интересы схлестнулись на чеченском нефтекомплексе. Империя Вершацкого пожелала проглотить нефтеперегонные заводы Грозного. Во многом преуспела, вложила огромные средства в подкуп чиновников, министров, мятежных чеченцев. Подготовила сложную политическую и финансовую схему, по которой группа чеченских нефтезаводов, месторождений и труб должна перейти к Вершацкому. Эта схема включала в себя возможность войны, однако предпочтительным выглядел вариант политический, с привлечением Грузии, Азербайджана и Турции. Огромная мощь, состоящая из денег, интеллекта, политической поддержки и работы спецслужб, казалась непреодолимой для Бернера. И он решил направить в их сплетение, в их нервный фокус просветленную оптику снайперской винтовки.

Отпуская теплую, плавно отлетающую руку Натали, Бернер смотрел на белый высокий лоб друга и видел на этом лбу маленькое, вырезанное пулей отверстие. Ему мучительно хотелось тронуть пальцем это место на лбу Вершацкого.

– Вот ты сказал – птица феникс! – Бернер запрещал себе думать о выстреле, который был ключевым элементом его стратегии и, подобно вторжению войск в Чечню, решал силовыми методами задачу, непосильную для политиков и финансистов. Он запрещал себе думать об этом, ибо знал сверхчеловеческую интуицию Вершацкого, который пользовался ей, как экстрасенс, в борьбе с конкурентами. – Ты сказал птица феникс! – отвлекающе сентиментально произнес Бернер. – А сколько раз мы с тобой, Левушка, сгорали и вновь возрождались из пепла!

– Да уж, пепла хватало! Этот первый провал, когда затеяли это чертово авторемонтное дело и нас накрыли менты. Не забуду следователя-бедолагу, брал деньги трясущимися

руками с наколкой «СССР», – Вершацкий захохотал, и его сильное дыхание нагнуло пламя свечи.

– А когда мы тащили из Малайзии контейнер с компьютерами! Я закапал в глаза начальнику таможни бриллиантовые капли. Не знал, пропустит груз или поведет меня к прокурору. – Бернер обманывал интуицию Вершацкого, отвлекал его в сторону, как птица, прикидываясь раненой, припадая на крыло, отвлекает охотника от гнезда. – Это были, как говорят комсомольцы, «огненные годы»!

– А тот взрыв, который разнес на клочки нашу «Вольво»! Представляешь, Натали, мы должны были ехать вместе и вместе задержались на пару минут, зайдя в туалет. – Вершацкий взял руку жены и играл ее длинными, в перстнях, пальцами, словно это были четки. – До сих пор не могу понять, была ли это солнцевская группировка, которая боролась за недвижимость, или чеченцы, которые лезли в Москву.

– Кто бы там ни был, но через неделю хоронили двух солнцевских, а Казбека – чеченца – больше никто никогда не видел, будто он вдруг превратился в бетонный блок для фундамента на Юго-Западе, – хмыкнул Бернер.

– Знаешь, Натали, – Вершацкий поцеловал жену в белую длинную шею с тончайшей ниткой жемчуга, – никогда, покуда жив, не забуду поступка Яши. В девяносто первом, в августе, когда красные кретины ввели в Москву бронетехнику, Яша приехал за мной, за моими детьми и увез нас в Белоруссию, к знакомому егерю. Сам за рулем, а навстречу броневики, танки! Яшечка, этого я не забуду!

– Сколько пережито, Левушка, сколько уроков! Видно, бог благоволит нам. В девяносто третьем, когда Руцкого из Кремля турнули и этот чеченский спикер щелкнул себя пальцем по кадыку, показал, как киряет Ельцин, помнишь, ты мне сказал: «Собираемся, черт с ней, с собственностью. Жизнь дороже!» Мы, Натали, вдвоем улетели в Лондон, сидим в отеле, смотрим, как танки палят по красно-коричневым, и надираемся вусмерть! Такое, Левушка, не забывается! Это навечно! Сильнее всяких пуль!

Бернер сказал и испугался. Чуткие ноздри Вершацкого могли уловить тончайший аромат вероломства, исходивший от этих слов. Он закрыл глаза, как бы вспоминая тот номер в лондонском отеле, огромный экран телевизора, на котором горел, исходил жирной сажей Белый дом. На столе стояла недопитая бутыль виски, разбитый стакан блестел на полу. Он закрыл глаза, чтобы Вершацкий не разглядел в глубине зрачков тусклую вороненую точку – нацеленный ствол винтовки.

Но Вершацкий не заметил винтовки.

– Знаю, Яша, нелегко тебе далось решение по грозненскому нефтекомплексу. Ты, естественно, уступаешь его мне с тяжелым сердцем. Поверь, я это ценю. Я расцениваю это как высшее проявление дружбы! Моя служба безопасности доложила, что ты прекращаешь все свои действия против меня в правительстве. Было бы дико нам с тобой ссориться! Мы накопили такой опыт, такую мощь и не станем ее тратить на борьбу друг с другом. Нам нужно не соперничать, а распределять влияние. Тебе вполне хватит твоих сибирских дел, красноярского алюминия и норильского никеля. А я займусь Кавказом. У меня отличные позиции в Баку и Тбилиси, друзья в Турции. Я смогу освоить кавказский узел, стянуть его трубой. Эти красные идиоты хотят вернуть Советский Союз, день и ночь митингуют на площади! – Вершацкий ткнул куда-то в готический стеклянный витраж, за которым, как ему казалось, бушуют краснознаменные демонстранты. – Это мы, банкиры, восстановим Советский Союз, но не с помощью партии и политбюро, а с помощью финансовых потоков, нефти и Интернета!

Вершацкий разглагольствовал вдохновенно на свою излюбленную тему. Смысл его философии, которую разделял и Бернер, сводился к тому, что банкиры, соединившись в тесную группу, должны разделить зоны влияния. Сглаживая противоречия, стать новой и един-

ственной властью в России, выдвинуть своего президента, лидера нового типа, молодого, блестящего, с глобальным мышлением, способного сформулировать новую доктрину России. Сменить на президентском посту уродливого и больного старца, непредсказуемого и опасного в своих безумных капризах. Этим новым лидером – так иногда казалось Бернеру – Вершацкий видел себя. С себя писал привлекательный портрет будущего Президента России.

– Послушай. – Вершацкий твердо и сильно своей сухой смуглой ладонью сжал руку Бернера. – Мы должны встретиться в ближайшие дни. Я на два дня слетаю в Женеву, и мы встретимся у меня в расширенном составе. Без политиков, без дураков, только финансисты! Мы обсудим без галстуков проблему президентской кампании. Мы должны сконцентрировать наши ресурсы, выбрать лидера, предложить политические технологии и начать действовать немедленно. Тем более ты знаешь, российские войска движутся по улицам Грозного. Эта война, блицкриг или затяжная, малой кровью или ценой колоссальных жертв, становится частью президентской кампании.

– Как, ты уже знаешь? – изумился Бернер, глядя со страхом в бледное красивое лицо друга. – Почему ты мне не сказал?

– Но ведь и ты не сказал! – тонко улыбнулся Вершацкий, легким движением пальцев поправил на висках свои черно-синие блестящие волосы.

Бернер испугался. Неужели Вершацкий с его проницательностью распознал вероломство? Не поверил в имитацию мира и согласия, разгадал ложные ходы, которые предприняла служба безопасности Бернера, отозвавшего из чеченского проекта часть денег, распустившего слухи о потере интереса к чеченской теме. Неужели своим «третьим оком», закрытым на лбу пушистыми сросшимися бровями, он читает мысли Бернера? И уже нанят стрелок с винтовкой. Уже следуют за ним по пятам сверкающие, как проносящиеся зеркала, лимузины с наружкой. Уже известны его любимые казино и рестораны, адреса его любовниц, графики возвращения домой. Уже на карте Москвы нанесены маршруты его движений, и, быть может, сегодня, в новогоднюю ночь, его поджидает в метели снайпер. Греется, пьет из термоса кофе, протирает запотевший прицел.

Он пережил мгновение паники, от которой затрепетал вокруг воздух и согнулось пламя свечей.

– Ты что? – Вершацкий внимательно смотрел на него, словно читал мысли.

– Что-то сквознячком лизнуло. Должно, заболеваю, – улыбнулся Бернер. – Официант, шампанского! – Он громко щелкнул пальцами, подзывая официанта.

Три бокала с шампанским, шипящим, с бенгальскими искрами, появились перед ним. Бернер снимал с подноса бокалы, чувствуя хрупкие хрустальные ножки, протягивал Вершацкому и Натали.

– С Новым годом, друзья! – Он чокнулся, повесив над столом два прозрачных, догоняющих друг друга звона.

– С Новым годом! – вторил ему Вершацкий.

Они пили холодное сладкое шампанское, обжигающее губы микроскопическими взрывами. Не мигая, глядели друг другу в глаза.

Бернер покинул столик. Двинулся через зал, исполненный тревоги, грозных предчувствий. Какая-то женщина в вечернем платье, в длинных, по локоть, перчатках, путаясь в шелковом шлейфе, метнула ему в лицо горсть конфетти. Улыбаясь, он брезгливо стряхивал с плеч разноцветный бумажный сор.

Какой-то женственный юноша, кругообразно двигая бедрами, кажется, актер бисексуального театра Виктюка, повесил ему на пиджак тонкую ниточку золотого дождя. И ему улыбнулся Бернер, снимая двумя пальцами нитку, как снимают гадкую гусеницу.

Он испытывал нарастающее раздражение, словно в него сквозь поры кожи, отверстия рта и ушей, расширенные зрачки вселилось невидимое существо. Разрасталось, заполняло внутренности, превращалось в подвижного пульсирующего червя. Огромный кольчатый червь двигался в нем, давил изнутри, определял его жесты и чувства, и он испытывал ядовитое, похожее на безумие страдание.

Он ненавидел зал, переполненный веселящимися, ничтожными, бездарными людьми, зависящими от его богатства и воли. Ненавидел пошлую елку, украшенную кренделями и русалками. Ненавидел метрдотеля, вороватого, лживого, принявшего личину благородного английского лорда. Ненавидел свое застолье, в котором несколько беспомощных, бесталанно играющих свои роли гостей нетерпеливо ждали его возвращения.

Скользкий червь, поселившийся в нем, требовал проявлений и действий. Ему вдруг захотелось поджечь этот особняк, этот обшитый мореным дубом зал, чтобы в огне жарко, с треском занялись сухие стены, вспыхнули гардины и скатерти, задымились туалеты и прически дам и все превратилось в пламя, в пожар, в истошные крики и ужас, а он, оттолкнувшись от земли, пролетая сквозь огонь, смотрел на пожар из синего московского неба, сквозь сияющую ночную метель.

Это наваждение продолжалось мгновение и кончилось. Перед ним стояла тележурналистка, недавно бравшая у него короткое новогоднее интервью.

– Сегодня ваши слова были самыми искренними и сердечными! – сказала она.

Ее напарник с видеокамерой исчез, унося кассеты с записями, а она, слегка опьянев, возбужденная, шла через зал. Бернер снова, оглядев ее полные голые ноги, плотные бедра и крупную, выступавшую из выреза грудь, испытал к ней жадное влечение. Раздражение и ненависть превратились в неодолимую похоть, от которой сдавило дыхание. Кольчатый червь набух в нем, наполнил пах, живот, глотку тугой, стремящейся наружу силой.

– Хотите посмотреть дом? – сипловато спросил ее Бернер, оглядывая зал, видя, что жена Марина увлеченно беседует с великосветской княгиней. – Здесь есть картинная галерея. Много отменных авангардных полотен.

– Покажите! – кокетливо ответила журналистка. – Обожаю авангард!

Они поднялись на антресоли по скрипучей лестнице со старинной балюстрадой. Стояли, глядя вниз на танцующих, на мужские лысины, женские прически, квадраты столов с горящими свечами и тарелками, на вершину елки с золотой шестиконечной звездой.

Бернер ухватился за толстый деревянный поручень, а бедром прижался к горячему женскому бедру. Не смотрел на нее, а душно, слепо желал.

– Пойдемте, – сказал он, проводя ее по полутемному переходу, проникая на другую половину дома.

С кресла навстречу им поднялся пожилой предупредительный служитель.

– Дай-ка нам ключ от картинной галереи, Степаныч! – глухо сказал Бернер, принимая от служителя ключ, тяжелый, рогатый, готический, под стать витражам и резным украшениям потолка.

Он открыл зал, впустил ее в бархатистую темноту. Запер дверь, которая прозвенела, как старинный сундук.

– Сколько картин! – пьяно-протяжно произнесла она, всматриваясь в темноту, где на стенах темнели холсты и на них смутно, едва различимо проступали изображения человекоподобных существ, зверообразных людей, абстрактные формы, странные орнаменты и фигуры. – Как интересно! – сказала она, не требуя, чтобы он зажег свет.

Он подошел к ней сзади и сильно обнял. Прижал лицо, губы, глаза к ее горячей влажной шее, к голому плечу.

– Ну что вы! Не надо! – слабо сопротивлялась она.

Он властно, грубо повел ее к дивану, снимая, сдирая на ходу платье. Посадил, толкнул на кожаный диван, совлекая с нее полупрозрачные рвущиеся оболочки.

– Что вы делаете!.. Мне нельзя!..

Он чувствовал ее запахи, ее тепло, ее силу, колотящееся сердце, быстрый жадный язык и кусающие острые зубы.

– Обещайте, мне нельзя!..

Все совершилось моментально и сладостно. Он освобождался от огромной набухшей в нем тяжести, от жаркой, как свинец, разрушающей и сжигающей его силы. Эту силу, эту раскаленную магму и тяжесть он вталкивал в нее. Сливал в нее свои страхи, ненависть, пожар, снайперскую винтовку, омерзение к людям, зависть и ревность к другу, танковые колонны в Грозном, звонок к министру обороны, фарфоровые зубы княгини, розовую лысину Сегала и что-то еще, глубинное, мерзкое, что таилось в нем и что не имело названия.

Облегченно, опустошенно встал, отошел от нее, теряя к ней интерес. Рассеянно глядел на картину, где какой-то косматый великан нес на плечах дохлого, истекающего кровью коня.

– Что вы сделали со мной!.. – слабо говорила она, поправляя свои растерзанные одежды.

Он был свободен и внутренне чист. Мерзкий червь покинул его. Быть может, переселился в нее. Свернулся в крендель в ее выпуклом, потном, с черным пупком животе.

– Прошу! – Насмешливо и галантно он выпускал ее из зала. И ключ в замке повернулся и прозвучал, как гулкий старинный сундук.

Глава восьмая

Кортеж с дудаевским лимузином покинул площадь. Уехали следом телохранители. Боевики, словно пьяные, все водили свой победный хоровод, стреляли из автоматов, и несколько гранатометчиков выпустили заряды, разбивая вдребезги уже подбитую и умертвленную технику. Но танцующих становилось все меньше, все реже звучали выстрелы, и скоро площадь, похожая на ночной луг, покрытый горящими копнами, обезлюдела. Только кружилось и кричало воронье. Садилось на обломки машин, обжигалось о раскаленную броню и снова с истошным криком взлетало. Птицы казались черно-красными, огромными, отбрасывали на тучи косматые тени.

– Будем выбираться, – сказал Кудрявцев, неуверенно оглядывая в темноте отдаленные углы площади, куда не долетало косое зарево. – Без оружия далеко не уйдем. Надо достать оружие!

Он еще не командовал этими тремя случайно подобранными беглецами. Еще не был для них командиром. Был просто старшим по возрасту, больше их знал и умел.

Эти трое также не видели в нем офицера, не чувствовали себя боевым отделением, а только жалким остатком разгромленной, испепеленной бригады, из которой их вырвало необъяснимое чудо и куда они не желали возвращаться.

– Надо пошарить по машинам и добыть оружие, – повторил он настойчивей, видя, как солдаты в темноте страшатся озаренного пространства. – Иначе без оружия перебьют, как цыплят.

– И так перебьют, – уныло произнес худощавый солдат. – Не выйдем отсюда.

– Перебьют, зато ты перед этим пару чеченов уложишь! – неожиданно зло сказал зенитчик. – Был бы у меня автомат, я бы их уже начал мочить.

– Пойдем по одному с интервалами в пять минут, – командирским голосом, но еще не приказывая, произнес Кудрявцев. – Первый – я!.. За мной – ты!.. – Он ткнул в зенитчика. – Потом – вы! Вон к тому грузовику!.. Потом – к колонне! Далеко не забредайте. Нашел автомат, и обратно!

Он сделал себе самому отмашку, преодолевая вялость в коленях. Почувствовал на себе взгляд снайпера, словно на лоб ему уселась большая щекочущая муха. Выбежал из подъезда и, пытаясь оторваться от своей длинной тени, метнулся по освещенному асфальту к черному грузовику.

Ткнулся в борт, прислушиваясь, не раздастся ли окрик, автоматная очередь, верещание пуль. Дверь кабины была приоткрыта. Осторожно в нее заглянул. Кабина была пуста, в ключе зажигания висели ключи. И явилась шальная мысль: запрыгнуть в кабину, запустить грузовик и на скорости, не включая огней, рвануть на прорыв. Но левые колеса, переднее и два задних, были прострелены, грузовик, наклонившись, стоял на ободах. Был непригоден для бегства.

Он выглядывал из-за кузова, выбирал прогал среди искореженной техники, куда бы можно было нырнуть и скрыться. Две бээмпэ нелепо сцепились хвостами, разведя в разные стороны пушки. Напоминали спаренных насекомых.

К ним, нагибаясь, чувствуя свою тщедушность и незащищенность, кинулся Кудрявцев. Добежал, огибая заостренную носовую часть бээмпэ. Разглядел на бегу оплавленную скважину в борту – след кумулятивной гранаты, а в распахнутом люке – повисшего в танковом шлеме водителя. Машина, судя по номеру, была из соседней роты. Он не стал останавливаться, нырнул в едкий дым, скрываясь среди разорванных гусениц и покосившихся башен.

Очень быстро он нашел автомат. «АКС» зацепился ремнем за буксирный крюк машины. Вцепившись в автомат, натягивая ремень, на нем висел замкомроты. С этим гру-

боватым, быстро хмелевшим, впадавшим после стакана водки в едкую раздражительность офицером Кудрявцев поссорился, когда командиры соседних рот сошлись на дружескую вечеринку. С тех пор они не здоровались, отворачивались друг от друга во время встреч. Теперь замкомроты, с дырой во лбу, с выпученными от внутреннего давления глазами, висел на автомате. Его белые усы приподнялись в злой усмешке, словно перед смертью он успел выкрикнуть какое-то едкое сквернословье. Горевший поблизости танк освещал его оскаленные мокрые зубы.

Кудрявцев схватил автомат, но крюк не пускал. Двумя руками он поддернул ремень, срывая его с крюка. Убитый, не отпуская оружие, завалился на бок, ударил лицом в гусеничный трак. Кудрявцев попытался вырвать автомат из стиснутого кулака, но мертвые побелевшие пальцы не разжимались. Кудрявцев разжимал их по одному, как гвозди. Отдирал от автомата поломанные грязные ногти. Эта борьба с мертвым казалась Кудрявцеву продолжением их ссоры. Ожесточившись, Кудрявцев с силой рванул, выдрал автомат, замкомроты упал, и его приоткрытый рот продолжал беззвучно сквернословить, а рука со скрюченными пальцами вытягивалась и искала Кудрявцева.

Кудрявцев жадно оглядел оружие. Переключатель стоял на коротких очередях. Шевеля стволом, оглаживая цевье, щупая пальцем крючок, он всматривался в проемы между тлеющими машинами и был готов, если возникнет опасность, ударить долбящим огнем.

Вернувшаяся к нему вместе с оружием полноценность сделала гибкими его движения, прокатилась по мускулам твердой волной. Глаза продолжали зорко высматривать опасность, таившуюся за углами и выступами подбитых машин, а руки вели в направлении этой опасности вороненую прорезь и мушку.

Он наткнулся на танк, окруженный комочками бесформенного, тлеющего на земле вещества. Башня была сорвана взрывом, в круглой дыре, как в железном котле, продолжало дымить и взбухать, валил подсвеченный изнутри рыжий дым, и в утробе танка что-то слабо булькало, хлюпало, как густое варево, и было страшно заглянуть в черную дыру, в развороченный живот танка, где в перерезанных кишках продолжалось пищеварение.

Перепады холодного и горячего воздуха порождали ветер, дующий между взорванными машинами. Кудрявцев ощущал щеками хлопки этого ветра, словно в него ударялись невидимые, лишенные плоти существа. Метались, реяли над раскрытыми люками, не в силах покинуть штурвалы, места у бойниц и прицелов. Кудрявцев двигался среди бестелесных невидимок, пробирался среди их беззвучного сонмища.

Четырехствольная скорострельная «Шилка», не тронутая огнем, опустила горизонтально трубчатые стволы, так и не успев отстреляться. Ее люк был открыт, как взломанный чемодан, вокруг тлела ветошь, и среди блуждающих угольков, прислонившись спиной к броне, сидели артиллеристы. Прижались друг к другу плечами, припали голова к голове, словно дремали. У гусениц валялась желтая гитара с наклейками. Оба были застрелены в грудь с близкого расстояния. Кудрявцев, не подходя, прижался к теплому борту сгоревшей машины, всматривался в их лица, в спутанные чубы, в желтую гитару. Они напоминали утомленных подгулявших туристов, закемаривших после рюмки водки. Где-то тут в траве валяются корочки печеной картошки, влажно поблескивающая пустая бутылка, и он, Кудрявцев, отошел от костра, пробрался сквозь лесную опушку, где бело и туманно от цветущей черемухи и в овраге над черной водой поет соловей.

Это видение совместилось с видом расстрелянных артиллеристов и вызвало у Кудрявцева помрачение, чувство наступающего безумия.

За спиной внутри бээмпэ раздался выстрел. Кудрявцев моментально присел, направил на звук автомат, готовый стрелять. Медленно распрямлялся, убирал с крючка напряженный палец. Это хлопнул внутри машины уцелевший патрон подорванного боекомплекта, пуля вяло отскочила от гильзы, упала на дно среди гари и пепла.

В распахнутом десантном отсеке он нашел еще два автомата. В темноте, куда он направил луч фонаря, валялся на днище матрас, стоял зарядный ящик, и на нем виднелись остатки ужина – краюха хлеба, вскрытые консервные банки и обгрызенные яблоки. Солдаты в панике бросили еду и оружие и убежали. Должно быть, были убиты и лежали где-нибудь рядом под колесами и опавшими траками.

Он набросил на плечо два автомата, выставил третий, прислушиваясь к неумолкавшему вороньему крику. Он был укрыт и защищен с боков ребристыми коробами машин, но открыт воронью, которое наблюдало за ним. Он был им помехой, мешал опуститься на землю и захватить принадлежавшую им добычу.

Он вглядывался в высоту. Сквозь сетку и мелькание птиц двигались сумрачные, с впадинами и прогалами тучи. Невидимый, висел над площадью спутник космической разведки. И влажный лист проявленной фотобумаги лежал на столе начальника Генерального штаба. Сквозь очки пожилой генерал рассматривал ночной сфотографированный город, огненный крест горящей колонны, и среди кубиков подбитых машин, вытянутых, как личинки, убитых солдат одна малая неясная точка. Это он, Кудрявцев, живой, с автоматом, прижался к корме бээмпэ.

Он увидел птицу, сидящую на кромке люка. Ворона вцепилась крепкими когтями в стальную кромку, повернула к Кудрявцеву мощный приоткрытый клюв, зло и яростно смотрела голубыми в красных ободках глазами. Она была озарена, ее сжатые крылья и глазированные перья отливали огненной медью. И все ее крепкое нацеленное тело выражало жадность и страх.

Вероятно, близко, по ту сторону подбитого танка, невидимые, лежали мертвецы. Птица нацелилась на них, но боялась неостывшего железа, тлеющих углей и Кудрявцева, мешающего ей овладеть добычей.

Кудрявцев испытал к ней ненависть, отвращение к ее костяному клюву, вскормленному на падали телу, хвостовым перьям, испачканным белесым пометом. Махнул на нее рукой, желая согнать. Ворона качнулась на крышке, но не взлетела, а, раскрыв клюв, показала узкий красный язык и хрипло зашипела. Она была сильнее его, хозяйничала на площади. Он покинул свою бригаду, бросил своих людей на истребление, и теперь они, простреленные и сгоревшие, валялись кругом на земле. Кудрявцеву здесь было не место, а место было ей, прожорливой и жестокой, овладевшей побоищем. Ей досталось поле боя, которое покинул Кудрявцев, и оба они это знали.

Ему захотелось вскинуть автомат и ударить в близкую мускулистую птицу, разрывая ее на клочки, превращая в ворох окровавленных перьев. Нагнув голову, он прошел стороной, и ему казалось, что птица, приоткрыв клюв, улыбается ему вслед, ее голубые в красных кольцах глаза смеются.

Он увидел боевую машину пехоты и на обугленной башне – полустертый исстрелянный номер его роты. Машина сочилась дымом, ядовитыми химическими струйками. Сохранив свои контуры и конструкцию, казалась скелетом, на котором сгорела кожа и плоть. Запах, который она источала, был запахом горелого бензина и мяса. Он приблизился к корме, тронул рукоять дверей, но обжегся. Обхватил рукоять полой бушлата, повернул и открыл. И оттуда, как из горячей духовки, ударил в него жирный горячий воздух. Среди сидений, обгорелых проводов и окисленных пулеметных лент он увидел облезший, в огарках и нашлепках мяса, скелет, протянувший к дверям костлявую руку. На запястье был толстый желтоватый браслет, потерявший в огне свой сочный цвет. Точно такой же браслет был у контрактника, изображавшего Деда Мороза, а скелет, лежащий на днище, и был контрактник, еще днем распевавший похабные частушки с притопом и присвистом.

Кудрявцев, ужасаясь, отступая назад, затыкая ноздри, вдруг испытал странное, похожее на тайную радость чувство: это не он лежит, испеченный в машине, не его уродливая, с голой костью, рука торчит из десантного отделения.

Пятясь, стыдясь этой грешной мысли, он отступал от машины, и шлепок горячего воздуха, излетев из машины, ударил ему в лицо.

Он двигался среди истребленных машин своей роты, тех, что успели дернуться, вырваться из колонны, развернуть в сторону врага пулеметы и пушки, и тех, что так и остались на месте, сохранили интервалы, образуя ряд испеченных коробов, напоминавших обгорелые, поставленные на противень буханки.

Это была его рота, расстрелянная и сгоревшая, растерзанная взорванным боекомплектом и разрезанная плазменными лучами кумулятивных гранат. Солдаты и прапорщики, которых он знал поименно, учил стрелять, кричал на них в гневе, награждал за успехи, бежал вместе с ними на дистанции, водил в баню, ночью входил в казарму, слыша их дыхание во сне, писал их родным в городки и поселки, на плацу вместе с ними, оттягивая носок, ударяя подошвой о землю, шагал, равняясь на боевое знамя бригады.

Теперь рота окружала его сгоревшим железом, грудами обезображенных тел. Повсюду слепо смотрели пустые бойницы, беззвучно орали открытые люки. В небе, раздраженное его появлением, кричало воронье.

Все его солдаты и командиры были мертвы. А он был жив и зачем-то явился сюда, на место, где полегла его рота. Кому-то беспощадному и жестокому было угодно вернуть его сюда, показать окисленный ствол пулемета, тлеющее на асфальте одеяло, механика-водителя, упавшего из люка в позе ныряльщика. Кому-то было угодно поставить его здесь, среди истребленной роты, и беззвучно спросить: «Что теперь станешь делать? Как теперь будешь жить?»

Можно было тут же и приставить к горлу ствол автомата, нажать на крючок, и последнее, что увидят глаза, – вяло дымящее, скомканное на асфальте одеяло. Или можно отыскать среди разбитой техники уцелевший танк, запустить мотор и, выруливая среди подбитых машин, прорваться к президентскому дворцу, шарахнуть из пушки по его освещенным окнам. Или что-то другое, неясное, не приходящее в его помутненный рассудок.

Он вдруг увидел начальника разведки. Тот лежал, тускло освещенный догоравшим грузовиком. Рука его была оторвана. Запрокинутое лицо с золотистыми гусарскими усиками, растворенный рот и открытые в небо глаза выражали непонимание, словно из неба показалось ему нечто неописуемое и ужасное, и умер он не от разрыва гранаты, не от болевого шока, а от зрелища истинного жуткого устройства мира, которое не в силах вынести ни один человек.

Кудрявцев, не приближаясь, издалека смотрел на начальника разведки, вспоминая его добродушные шуточки, молодцеватый жест, с которым он подкручивал усики, обручальное кольцо на руке, которая теперь была оторвана. Его жадный, мужской, загоравшийся взгляд, когда рядом появлялась женщина, и тот же взгляд, сентиментально-мечтательный, когда, выпив водки, он пел под гитару своим сладковатым тенором.

Кудрявцев услышал голоса. Они раздавались сразу с нескольких направлений, и им сопутствовал скрип и лязг железа. Открывались и хлопали люки, скрипели тяжелые бронированные двери. На освещенное пространство, где лежал убитый разведчик, вышли двое чеченцев. Кудрявцев различал их кожаные куртки, похожие спортивные шапочки, безусые смуглые лица с крупными носами. Они были увешаны трофейным оружием. Как и Кудрявцев, затолкали себе за спину по два, по три автомата. Обшаривали глазами подбитые машины.

Увидели убитого офицера, подошли. Один расстегнул на убитом бушлат, осмотрел ремень, видимо, в поисках пистолета. Другой осторожно, чтобы не испачкаться в крови,

обшарил нагрудные карманы, вытащил зажигалку, авторучку, сунул себе в карман. Что-то раздраженно произнес по-чеченски. Его товарищ хмыкнул, расстегнул ширинку и, подойдя вплотную к убитому, стал мочиться на его лицо, на открытые глаза, на золотистые усики.

Кудрявцев видел, как разбиваются брызги о лицо начальника разведки. Рука, сжимавшая автомат, поднималась. Но из-за остова грузовика показались другие чеченцы. Кудрявцев, погасив свой импульс, осторожно, чтобы не звякнул металл, отступил в тень. Скрылся в сумеречных прогалах колонны.

Он уходил от освещенных мест, где продолжали бродить мародеры. Держался темноты, пробираясь обратно, к краю площади. Волновался, как бы солдаты, посланные им за оружием, не напоролись на вооруженных чеченцев.

Он не увидел, но почувствовал, что за ним наблюдают. Не мог определить откуда. Сжался, притиснулся к радиатору бензовоза, ожидая близкую вспышку, удар пуль о цистерну. Очереди не было, но ощущение того, что он на виду, что за ним следят, заставило его, медленно поводя глазами, искать направление, откуда исходила тревога.

Эта тревога, словно едва ощутимая вибрация воздуха, доносилась из-под танка, из темного проема между гусеницами. Кудрявцев не видел того, кто скрывался под танковым днищем, но это не мог быть чеченец. Это мог быть только свой, живой, уцелевший во время побоища, забившийся, как в нору, под танк.

– Эй! – позвал Кудрявцев. – Давай выходи!

Ему не ответили, но он знал, что был услышан.

– Давай выходи!.. Свои! Не хрена там отсиживаться!..

Из-под танка на четвереньках, похожий на большую собаку, вылез солдат, за ним другой, по-пластунски. Первый уже стоял на ногах, боязливо подходил, а второй все еще продолжал ползти, елозя по земле локтями.

– Откуда? Кто такие? – Кудрявцев старался придать голосу уверенные, ободряющие интонации.

– Танковый батальон. Наводчик танка, – сказал подошедший. И в том, как он боязливо, поглядывая по сторонам, подходил, было нечто от большой запуганной и забитой собаки.

Это были два солдата, оба без оружия. Один был в растерзанном комбинезоне, с большой, через все лицо, царапиной, угловатый, нескладный. Другой, в одной тельняшке, замерзший, с провалившимися щеками, маленьким жалким носиком, дрожал и дергался, словно его контузило.

– Замерз, или что? – спросил Кудрявцев, но тот не ответил и продолжал дрожать.

– Как начало гвоздить, все побежали… Движок у танка заглох… Я вылез, а уж все горит… Я под танк залез, а потом и этот приполз… Чеченцы пришли, пленных сюда подогнали… Расстреляли… – Солдат кивнул в темноту, где на сером асфальте что-то неразборчиво, уродливо темнело. – А этот цуцик замерз до коликов…

Второй стоял ссутулившись, обняв себя за бока тощими руками. Его колотило, казалось, его сейчас начнет рвать, выворачивать. Кудрявцев спустил с плеч автоматы, снял бушлат, накинул на солдата, на его дрожащие, обтянутые тельником плечи.

– За мной! – приказал Кудрявцев, и те послушно засеменили. Было слышно, как икает и давится тот, кого бил колотун.

Они дошли до последних разбегавшихся с площади, остановленных гранатометами машин. Одиноко, в стороне, темнел грузовик.

– Туда бегом! – указал на грузовик Кудрявцев. – Если что, прикрою! – Видел, как нестройно бегут солдаты, пересекая пустое освещенное пространство. Испытывал к ним щемящее жалостливое чувство. Был готов заслонить их, принять на себя грозящую им опасность.

Он нашел их у грузовика и, легонько понукая, погнал к дому, где в черном подъезде его уже поджидали трое других. Возбужденные, нетерпеливые, они обрадовались его появлению. У них было оружие – три автомата и один ручной пулемет с тяжелой свисавшей лентой.

Они уже не были беглецами, не были безоружными одиночками. Они были вооруженные, добывшие себе оружие солдаты, а он был их командир.

Все пятеро выстроились на лестничной площадке лицом к окну, за которым розовела и туманилась площадь. Кудрявцев видел их серьезные, устремленные на него лица, стволы автоматов, наброшенные на плечи ремни. Он еще не знал, что им скажет, но это нарождавшееся слово, вызревающее решение овладевало им.

– Познакомимся для начала, – сказал он, обращаясь к солдатам. Этим спокойным обращением давал им понять, что самое ужасное, превратившее их бригаду в беспомощные остатки, это ужасное кончилось и они опять превратились в вооруженное боевое единство. – Я – командир первой роты капитан Кудрявцев. Назовитесь и вы. Звание, фамилия, должность… Ты!.. – Он ткнул стоящего на правом фланге уже знакомого ему батарейца, жадно схватившего кулаком ремень автомата.

– Рядовой Чижов! Водитель грузовика зенитно-ракетной батареи!..

– Стало быть, Чиж, – уточнил Кудрявцев, и этим уточнением упростил их отношения. Внес в них едва заметную теплоту и иронию, необходимую для быстрого сплачивания. – Ты!.. – Он указал на следующего, невысокого ладного крепыша, того, кто раздобыл ручной пулемет. Забросив на плечо автомат, он поставил пулемет у своих ног, как не подлежащую перераспределению собственность.

– Сержант Тараканов, мотострелок! – был ответ.

– Значит, Таракан! – дал ему кличку Кудрявцев. И чтобы тот не обиделся, уточнил: – Самое умное, быстрое и добычливое существо!

Кто-то из солдат хмыкнул, не насмешливо, а дружелюбно. И Кудрявцев понял, что игра его принята, уже происходят их сближение и спайка.

– А ты кто? – спросил худого, угловатого парня, третьего из тех, кто, шаркая, пробегал мимо дома. Теперь он почти утратил свою угловатость, вытянулся, заострился, и эта образующая, укрепляющая его вертикаль проходила сквозь ствол его автомата.

– Старший сержант Ноздратенков, снайпер взвода!

– Ноздря, – сказал Кудрявцев. Видел, что всем понравилась кличка. Те, кто уже был наречен, принимали его в свою компанию. А те, кто покуда оставался безымянным, ожидали своей очереди.

– А ты? – Кудрявцев всматривался в того, кто недавно по-собачьи выбрался из-под заглохшего танка. Теперь он был сильным, высоким, деревенского обличья парнем. Успокоился после того, как получил автомат, оказался в строю вооруженных людей.

– Рядовой Крутых, орудийный наводчик танка.

– Крутой! – недолго думая, определил Кудрявцев. Все заулыбались, губы задвигались, повторяя и примеряя крепкое слово «крутой».

– Ну и ты, наконец! – обратился Кудрявцев к тому, кто стоял в его теплом бушлате, еще не согревшийся, сгорбленный, сохраняя первые появившиеся в нем капли тепла.

– Филимонов, мотострелок, рядовой… – отозвался солдат и закашлялся. Его опять стала бить дрожь.

– Значит, Филя! – сказал Кудрявцев с едва заметной лаской, как говорят с больными детьми, беззащитными в своей хвори и одиночестве.

Теперь все они были знакомы, поименованы. Их новые имена должны были отделить их от недавних унижений и страхов, от догоравших подбитых машин. Они сочетали их в новом единстве, делали новым боевым отделением.

– Вот что скажу! – Решение, которое медленно в нем созревало, с тех пор как его пустые безоружные руки сжали цевье автомата, глаза обожглись зрелищем истребленной бригады, а его разум, переживший страх и позор, возвращал ему ощущение несломленной воли, – это решение облекалось в слова, с которыми он обратился к солдатам: – Нам удалось вырваться из этого ада, – он кивнул на окно, на котором колыхались вялые красноватые пятна. – Мы вернули себе оружие. Нас несколько здоровых молодых мужиков. Мы можем попытаться уйти, просочиться сквозь сады, добраться до окраины. Если нас по пути перехватят, дадим бой, пойдем на прорыв. Кто-нибудь да прорвется! Но мы можем поступить по-другому. – Он помолчал, проверяя, все ли отложилось в его голове поверх горячего пепла и недавнего страха. – Мы можем занять оборону. Использовать дом как опорный пункт. Нам при вступлении в город была поставлена боевая задача: занять привокзальную площадь, контролировать вокзал, подъездные пути до подхода морской пехоты. Приказ командования никто не отменял. Мы есть то, что осталось от нашей бригады, стало быть, мы и есть бригада. Мы вышли на намеченный рубеж с большими потерями и заняли оборону. Погибла большая часть бригады, но русская армия не разгромлена, есть другие войска, дивизии, корпуса, фронтовая и бомбардировочная авиация. Есть свежие части, которые уже на подходе и готовятся к наступлению. Уверен, утром оно начнется. Наша задача – его поддержать. Сохранить этот дом, наш опорный пункт, ожидая, когда подойдут подкрепления… Не хочу вам приказывать. Хочу, чтобы решение, которое примем, было вашим сознательным добровольным решением. Только после этого я буду для вас командиром…

Они молчали, глядя через его плечи и голову в окно, затуманенное их дыханием. За стеклом, как в керосиновой лампе, вяло колыхался красный огонь. Никто из них не обладал красноречием. Городки и поселки, из которых они пришли, были населены усталым, погрязшим в нуждах и заботах народом. И сами они только что избежали смерти. Им хотелось, как в детстве, закрыть глаза и чудом перелететь из чужого жестокого города в родные селения, где ждут их братья и сестры и измученные ожиданием родственники. А этого грязного окна, в котором угрюмо тлеет красный фитиль, этих птичьих истошных криков над телами убитых товарищей, этого высокого лобастого капитана, призывающего их воевать, – всего этого нет и не будет.

Они молчали, громко дыша, и было слышно, как что-то сипит в простуженных легких Фили.

– Товарищ капитан! – Это сказал Таракан, слегка выставляя ногу, касаясь ею приклада стоящего на полу пулемета. – Вон тот грузовик, к которому мы выдвигались… Он с боеприпасами. Навалом цинков, гранат. Вроде огнеметы «Шмели». Надо, пока темно, смотаться, запастись патронами.

– Так и будет, – сказал с облегчением Кудрявцев, принимая командование. И уже командирским, не терпящим возражений голосом приказал: – Все четверо, кроме Фили! К грузовику, вперед!.. Я пулеметом прикрою…

Он спустился на первый этаж, установил пулемет у порога, озирая сектор обстрела, по оси которого темнел грузовик. Кратко сказал:

– Вперед!

Четверо, нагнувшись, сильно отмахивая локтями, помчались к грузовику. Он следил за горящими обломками, за окрестными домами, за прогалами улиц, готовый стрелять.

Было тихо, безлюдно. Все четверо скоро вернулись, тяжело нагруженные патронными цинками, ящиком гранат и двумя гранатометами, в которых торчали заряды, похожие на острые, вырванные из грядки репы.

– Может, еще разок, товарищ капитан! – азартно произнес Таракан, ставя на ступеньки цинк с патронами.

– Хорош! До подхода наших продержимся! – ответил Кудрявцев, втаскивая в подъезд пулемет. – Теперь надо бы дом осмотреть, соорудить оборону.

Глава девятая

Дом, в котором они собрались и который служил им убежищем, был трехэтажный, кирпичный, под покатой железной крышей, с чердаком и двумя подъездами.

«Если вскрыть чердачные двери, – думал Кудрявцев, – забаррикадировать подъезды, то лестничные стояки, соединенные через чердак, превращались в позиции, которые следовало оборонять». Огневыми точками становились окна, выходящие на площадь, а также чердачные слуховые проемы, выглядывающие на вокзал. Один торец, обращенный к соседним садам и улочкам, был без окон, и это облегчало отражение атак, противник не мог проникнуть сквозь глухую стену и забросать их гранатами.

Их было шестеро. По замыслу Кудрявцева двое, засев у лестничных окон, отражали атаки с площади. Двое других, разместившись под крышей, держали под прицелом вокзал. Он же и последний солдат входили в резервную группу. Перемещались под крышей между лестничными стояками, оказывая поддержку в круговой обороне.

Они поднялись на чердак. Кудрявцев светил фонарем на замок, болтавшийся на петлях, а Крутой, пыхтя и высовывая язык, ломал его штык-ножом. Гнул петли, скрежетал, а потом, рассердившись, двинул сильным плечом, высадив дверь вместе со щепками и винтами.

Чердак был низок, наполнен хламом и рухлядью, обрезками труб, мотками проволоки. Сквозь щели в слуховом проеме Кудрявцев видел край лепного вокзала, липкую платформу и отрезок стальной колеи с лиловыми огнями, похожими на глаза изумленных животных.

– Таракан!.. Ноздря!.. – позвал он солдат, отыскивая их фонариком среди стропил и асбестовых труб. – Здесь ваша позиция… Твой сектор, – он ткнул Таракана в плечо, – от края площади до угла вокзала… Тебе, – он повернулся к Ноздре, – смотреть правее, вдоль колеи до этих чертовых садиков. Опасная зона. Могут подкрасться, забросать гранатами. Так что бей по теням, по звуку, по вспышкам, по чему угодно, если жить хочешь!

Солдаты молча прижимались глазами к деревянным переборкам проемов, и в белом лучике фонаря летел и кудрявился пар, вылетавший из губ Таракана.

Вторую чердачную дверь Крутой высадил с легким стоном, охая, покатился вниз по темной лестнице, чертыхаясь и матерясь. Когда встал, освещенный фонариком, ощупывая ушибы, Таракан съязвил:

– Ты не человек, а стенобитная машина. От дома ни хрена не останется!

Это была первая шутка, услышанная Кудрявцевым после пережитой жути. Значит, жуть отступала. Это чувствовали остальные солдаты и сам Крутой, который не рассердился, а беззлобно хмыкнул.

– Теперь пораскинем, как закупорить подъезды. – Кудрявцев прислушивался к звукам в доме, все еще надеясь уловить признаки жизни. Быть может, бой настенных часов или мяуканье кошки. Но было безмолвно, тихо. Только снаружи истошно кричали вороны и раздавались редкие очереди.

Двери одного из подъездов они накрепко заложили и заклинили обрезком трубы. Проворный и зоркий во тьме Таракан соорудил у порога растяжку. Закрепил две гранаты, скрепил их проволокой до струнного бренчанья и звона. Приговаривал:

– Добро пожаловать, козлы вонючие!

Двери второго подъезда были без ручек, некуда было засунуть трубу. Вход решили заставить и забаррикадировать мебелью.

Кудрявцев подсвечивал фонариком, упирая кружочек света в пол, чтобы луч не скользил по окну. Отыскали незамкнутую, с приоткрытой дверью квартиру. По очереди осторожно вошли, робея вида чужого оставленного жилья.

Квартира была однокомнатная. Ее опрятное обветшалое убранство наводило на мысль, что обитатели ее – одинокие старики. Какая-нибудь смиренная похварывающая пара. В остывшей, с холодными батареями, комнате пахло тлеющими материями, лекарствами, запахом старости, исходящим от неуклюжей мебели, засаленных обоев, множества ковриков и салфеток, белевших кружевами и вышивками.

Пройдя в комнату, протаскивая сквозь дверные занавески автомат, Кудрявцев с порога осматривал мебель, пригодную для баррикады. Тяжелый двухъярусный буфет с резными колонками, наполненный тарелками и вазами. Платяной шкаф с зеркалом, с какими-то коробками наверху. Широкая, застеленная покрывалом кровать с горкой подушек. Все годилось для дела, все могло встать в узком подъезде, закупоривая проход.

Солдаты тесно топтались в комнате, оглядывая чужое жилье, в которое без спроса, без стука завел их командир.

Чиж подошел к буфету, погладил резные узоры, приник к стеклу, разглядывая посуду.

– У нас дома похожий буфет, – сказал он. – Наверху тетерев вырезан. Бабушка его называет «охотничьим».

Ноздря прислонил к стене автомат, поклонился куда-то в угол, и Кудрявцев увидел, что он крестится. В темноте, куда был обращен поклон, едва различимая, висела икона. Солдаты замолчали, перестали топтаться, не мешая ему.

– Ну что, берем гардероб? – Кудрявцев раскрыл створки шкафа, тускло полыхнув в темноте зеркалом. – Всю одежду – долой!.. Таракан!.. Крутой!.. Оттаскивайте его вниз аккуратно! – Он подошел к кровати, ткнул пальцем в подушки, украшавшие стариковское ложе. – Это тоже берите!.. Чиж!.. Ноздря!.. Приступайте!

Видел, как солдаты вытряхивают из гардероба ворохи ветхих одежд, сволакивают с кровати матрас и одеяла. Прошел в коридор, подсвечивая фонариком.

В квартире было холодно, отопление не работало. Электричество было вырублено, вода из крана не шла. Но ванная почти до краев была наполнена запасенной впрок водой. И это обрадовало Кудрявцева – для автоматов было вдоволь патронов, для солдат – надежный запас воды.

Он раскрыл маленький, стоящий на кухне холодильник. Фонарик осветил миску, полную застывшего холодца. Эмалированную кастрюлю то ли с винегретом, то ли с салатом. Среди лекарственных пузырьков и флаконов возвышалась бутылка водки. Это был ужин, заботливо приготовленный по случаю Нового года, так и оставшийся нетронутым. Теперь этот ужин достанется Кудрявцеву и солдатам. Если этой еды не хватит и назавтра морпехи не пробьются к вокзалу, в других квартирах, в холодильниках, в наполненных ваннах оставлен для них запас продовольствия.

В комнате уже скрипел и хрустел сдвинутый с места шкаф. Крутой охал и поругивал Таракана. Шкаф не проходил в дверной проем, цеплялся за косяк, жалобно постанывал.

– Аккуратней, ты! – злился Крутой. – Зеркало побьешь!

– Кто будет смотреться, баб нету! – огрызался Таракан. – При сильней!

– Старушечье добро, – настаивал Крутой, подтягивая на себя короб шкафа. – Всю жизнь наживала.

– Война спишет, – пыхтел Таракан, толкая шкаф.

– Эй, вы, осторожней! – вмешался Ноздря, подхватывая угол.

– Зеркало разобьется, дурная примета.

Таракан умолк, перестал пинать шкаф, и они втроем, осторожно, охая и переводя дух, спустили неуклюжий гардероб на первый этаж, закупорили вход.

Туда же была вынесена и поставлена на попа кровать. Громоздкую мебель приторочили к дверям проволокой, и Таракан установил растяжку с гранатами, повторяя язвительное: «Добро пожаловать, суки…»

– Таракан!.. Крутой!.. – Кудрявцев, довольный баррикадой, оттеснял солдат от невидимой в темноте опасной струны, соединяющей кольца гранат. – Ваши позиции – второй этаж, первый и второй подъезды!.. Боекомплект делим надвое, складируем на верхних площадках.

Дом с помощью старой мебели, железных труб и растяжек был превращен в опорный пункт с четырьмя амбразурами, в которых на разных этажах, по разным секторам разместились стрелки. Цинки с патронами, ящики с гранатами были поделены надвое и поставлены в глухие углы площадок, чтобы в случае обстрела их не достала пуля.

– Теперь айда, перекусим! – бодро сказал Кудрявцев, испытывая облегчение. Между ними, закрывшимися в доме, и площадью, продолжавшей тлеть и постреливать, образовалась преграда.

«Спасибо дому», – повторил он безмолвно, проведя рукой по шершавой стенной штукатурке.

Они вернулись в квартиру, сложили у порога автоматы, тесно расселись вокруг стола. Крутой извлекал из буфета тарелки, вилки, ножи. Притащил из холодильника миски с винегретом и холодцом. Кудрявцев оглядел близкие голодные лица, в царапинах, потеках копоти, в чердачной грязи. На каждом были следы перенесенных мук и опасностей. Сказал Крутому:

– Неси бутылку…

Тот принес из холодильника и поставил водку на стол. Извлек из буфета стаканчики. Кудрявцев сам распечатал горлышко и медленно разлил по стаканам маслянистую переохлажденную водку. Солдаты молча и серьезно наблюдали за ним. Водка слабо поблескивала, и в этом поблескивании присутствовали красные искорки, прилетавшие из-за окна.

– Ну что, мужики. – Кудрявцев поднял стакан. – Во-первых, за то, что живы, что пуля нас не достала… Во-вторых, за погибших товарищей, которые с нами не чокнутся… В-третьих, чтоб мы и дальше жили, дождались частей, которые идут к нам на выручку… А в целом, с Новым годом!..

Он протянул над столом стакан. Солдаты по очереди, уступая друг другу, чокались с командиром. Ноздря, перед тем как выпить, перекрестился. Все пили, прижимая стаканы к обветренным, обкусанным, обожженным губам, и площадь за окном тлела, как скомканное одеяло.

– Ну вот, все умяли, что старички себе приготовили, – сказал Крутой, виновато подъедая с тарелки остатки холодца. – Небось хотели себя побаловать, а мы все смолотили.

– Да они бы сами нам предложили, – успокоил его Ноздря. – Русские люди, икона висит. Они бы нас пригласили.

– Мать у нас дома такой же холодец готовит, – задумчиво сказал Чиж, – только хрен на стол ставит. С хреном вкуснее.

– Лучше холодец без хрена, чем хрен без холодца, – рассудил Таракан. – Мороженое будет, товарищ капитан?

– На Филю посмотри, вот тебе и мороженое! – сказал Кудрявцев.

Филя возвратил Кудрявцеву бушлат, напялил на себя стариковские кофты и блузы, просторное долгополое пальто, то ли женское, то ли мужское. Сидел, нахохлившись после выпитой рюмки, похожий на чибиса. Все посмотрели на Филю и хмыкнули, но не с тем, чтобы его задеть, а просто откликнулись на шутку своего командира.

Кудрявцев уловил эту тончайшую деликатность. Испытал к ним мгновенную, похожую на головокружение нежность. Над близкой, усеянной горящими танками площадью пролетело полупрозрачное существо, проникло в дом сквозь затуманенное окно. Встало над ними по-матерински любовно и горестно, накрыло их своим невесомым покровом. Это длилось мгновение и кончилось.

– По местам! – сказал он, вставая. – На позиции!.. Не спать, смотреть в оба!.. Мы с Филей в резервной группе!

Поднимались, разбирали оружие. Захватывали с собой стулья, чтобы удобнее разместиться у огневых точек. Расходились по чердаку и лестничным клеткам. Занимали позиции.

Филя, укутанный в старушечьи кофты, прикорнул на кухонном диванчике, сберегая обретенное тепло и ощущение сытости. А Кудрявцев уставился на мерцавшую в буфете точку и думал.

Неизбежно весть о разгроме бригады прокатилась по высшим штабам. Министр обороны, празднующий свой день рождения, уже покинул застолье, возвратился в свой кабинет. Принимает доклады штабистов, командующих округами и армиями. Уже выдвигаются к городу резервные части, заправляются топливом баки штурмовиков, крепятся на подвесках ракеты и бомбы. И под утро по городу нанесут огневой удар, следом пойдут войска. Не так, как входила бригада, сплошной беззащитной колонной, подставляя борта и башни под выстрелы гранатометов, а малыми группами пехоты, при поддержке вертолетов и танков, ломающих оборону противника. Медленно, дом за домом, развалина за развалиной, пробивая, как зубилом, кирпич, войска доберутся до площади, до трехэтажного дома, где засел Кудрявцев. Соединятся два фронта: один – состоящий из полков, артиллерии, танков, другой – из крохотной группы, которой командует Кудрявцев.

Он был уверен, что именно так и будет. Их не обнаружат до подхода войск. Они вступят в бой в самый последний момент, ударят в тыл отрядам отступающих чеченцев. И с этой уверенностью поднялся и пошел проверять позиции, подбодрить и проведать солдат.

Чиж устроился на стуле у окна между первым и вторым этажом. Его автомат лежал на подоконнике стволом к стеклу. В углу, заслоненный простенком, стоял гранатомет с заостренной гранатой. Другой простенок был пуст, и Кудрявцев мысленно затолкал туда Чижа на случай, если окно проколет автоматная очередь или влетит шипящая головня гранаты. Многослойный кирпич защитит солдата от выстрелов, если тот умело укроется.

Чиж сидел у подоконника над листком бумаги. В темноте, в слабых отсветах, прилетавших с площади, водил карандашом. Кудрявцев наклонился, заглядывая в бумажный листок.

– Без прибора ночного видения не пойму… Глаза испортишь…

– У меня глаза, как у кошки, в темноте расширяются.

– Пишешь?

– Рисую…

Кудрявцев различил на листке слабые контуры и штрихи, но смысл рисунка был неясен.

– Что рисуешь?

– Что вижу. Площадь, танки подбитые. Все, что осталось от наших.

– Это зачем?

– А я все время рисую. Подвернется минутка, я и рисую.

– Ты что, художник?

– Поступал в училище, да не прошел. Сказали, рисунок слабоват, надо подтянуть. Я и подтягиваю, руку набиваю.

– И портреты умеешь?

– Дембелей рисую в альбом, в форме, при оружии. Хвалят, говорят, похоже…

Он продолжал рисовать на листке, добытом в стариковской квартире. Кудрявцев изумлялся: час назад Чижа пощадила смерть. Искала его, окружала цоканьем пуль, взрывами летучих гранат, поливала огненной жижей, заваливала телами товарищей. Его душа уцелела в пожаре, не умерла, а лишь напугалась. И теперь, когда испуг миновал и выдалась минута покоя, он рисовал, отдаваясь своему увлечению.

– А еще что рисуешь?

– Да все! Деревья, людей, дома. Позавчера прапорщик поставил сушить сапоги, я и их нарисовал. Жаль, что альбом сгорел.

Кудрявцев опять усомнился, прав ли он, заняв оборону в доме. Пять уцелевших солдат признали в нем командира, верят, что он их спасет, выведет из страшного города, поможет добраться к своим. А он снабдил их оружием, поставил у амбразур и снова кидает в бой. Прав ли он, оставаясь сторожить горы обгорелых костей?

Он смотрел, как рисует Чиж, прижав к подоконнику листик, покрывая его невидимым и, быть может, несуществующим рисунком.

Снаружи, на площади, по белому снегу из окрестных улиц на огонь, на запах жареной плоти выбегали собаки. Поодиночке, малыми сбитыми стаями семенили, скакали, исчезали в скоплениях машин. Туда же осторожно по одному или по два, с ручными колясками, с мешками и сумками проскальзывали люди. Это были не боевики, не вооруженные победители, а робкие и трусливые мародеры, решившие поживиться на трупах. Как в больших городах в ночных помойках роются бомжи, погружая руки в теплый и тлеющий мусор, так мародеры тянулись на теплую, неостывшую свалку войны, надеясь на ней покормиться.

Среди разбитых машин возникали схватки и драки. Ссорились собаки и птицы, схватывались над трупами урчащие люди. Вырывали друг у друга бушлаты, сапоги, ручные часы и бумажники. Убитые, с голыми костлявыми ногами, с синими запястьями, раздетые, лежали на снегу. Мародеры суетливо толкали свои тележки, горбились под набитыми тюками, торопились покинуть площадь, растащить по норам добычу.

Кудрявцев поправил стоящий в углу гранатомет, тихонько отошел от Чижа. А тот разглядывал площадь своим ночным всевидящим зрением, рисовал подбитые танки, собак, ворон, мародеров.

Кудрявцев прошел на чердак и в холодной тьме, среди стропил и железных стояков не увидел, а почувствовал по едва различимому полю: у слухового окна притаился солдат. Таракан удобно устроился на деревянной балке. Слабый свет площади освещал его лицо. Другое окно было врезано в противоположный скат крыши, и в случае опасности Таракан мог сменить позицию, вести огонь по двум направлениям.

– Как обстановка? – Кудрявцев, устраиваясь на стропилине, слегка потеснил солдата. – Как чувствует себя личный состав?

Таракан подвинулся, давая место командиру. Кудрявцеву показалось, что Таракану приятно его появление. Легкая, заключенная в вопросе насмешка располагала к беседе.

– Думаю, в доме жильцы русские, – сказал Таракан. – Их убрали, чтобы знак войскам не подали. Если б жильцы остались, они бы знак подали, хоть светом в окне, хоть криком.

– Похоже. – Кудрявцев вслушивался в тишину, в которой не улавливалось ни единого шороха, словно все обитатели, включая мышей, пауков, тараканов, покинули дом в предчувствии землетрясения. Первый толчок уже уничтожил бригаду. Второй набирал свою силу, копил ее в толщах под площадью, готовясь направить на одинокий, с погашенными окнами дом.

– Я им в руки не дамся. – Таракан угадал мысли Кудрявцева. – Когда началась мочиловка, наши кто куда побежали, я в люке встал и отстреливался! – Таракан зло заерзал, потянулся к автомату, проверяя на ощупь оружие, и острое плечо солдата сильно надавило на Кудрявцева.

На площади зарокотало. Они оба притаились, прижались к слуховым щелям, их руки в темноте легли на спусковые крючки. Подсвечивая водянистыми огнями, на площадь один за другим выкатили черные дымные грузовики. В кузове стояли люди, машины протащились по снегу к бесформенным остаткам бригады, остановились, упираясь огнями в груды

обломков. Из кабин, из кузовов стали выпрыгивать люди, что-то кричали, что-то стаскивали с грузовиков. Собрались вместе и гурьбой ушли в темные нагромождения броневиков и танков, поднимая и распугивая кричащее воронье.

Грузовики погасили фары, и в одной из кабин зажглась и погасла красная точка сигареты.

– Тягачи? – спросил Таракан. – Там уцелевшие бээмпэшки остались. Своих козлов посадят и – вперед!

Кудрявцев не ответил. Площадь была похожа на круглую цирковую арену. Еще недавно она выглядела белоснежной и чистой, с восхитительной мерцающей елкой, наполненная сочными звуками рояля. Теперь она была черной, политой кровью и гарью, в уродливых остовах и красных кострах. И им, на время отступившим со сцены, еще предстояло на нее вернуться, участвовать в представлении.

– Чеченцы не все подонки, – сказал Таракан, когда тревога, вызванная грузовиками, улеглась и потянулись минуты ожидания. – Есть среди них нормальные.

– Знал таких?

– В школе со мной учился, Шамиль. Нормальный парень. Бабочек собирал, как и я, для коллекции. Потом уехал. Может, сегодня по мне шмалял.

– Ты что, бабочек собираешь?

– У меня большая коллекция. Перед тем как в армию идти, я ее соседке подарил, на память.

– Невеста?

– Да нет, соседка.

Они смотрели, как чернеют бруски грузовиков. И Кудрявцев вспоминал, как ранней весной бабочки появлялись на их огороде. При первом тепле над мокрой землей, в голых яблонях вдруг мелькнет черно-красная искра. На серую тесину забора сядет шоколадница, как цветной лоскуток. И он подбирается к ней, видит, как дрожат ее крылья и усики, пульсирует темное тельце. Или летом, когда капуста раскрывала свои восковые зелено-белые листья, в которых после дождя скапливалась драгоценно-прозрачная вода, – на них слетались нежные, желтовато-млечные капустницы с тонкими, покрытыми пудрой тельцами.

Кудрявцев смотрел на Таракана, на испачканное сажей лицо, нахмуренный, с темной морщиной лоб. Старался угадать, как выглядела его домашняя комната, письменный стол, тетрадки, стеклянные коробки коллекции, перламутровые и сверкающие.

На площади, среди руин и обломков, истошнее закричали вороны, взлетали испуганные косяки, сердито и зло хрипели собаки. От расстрелянных машин в разные стороны, словно их пугнули камнем, побежали псы, засеменили прочь мародеры. Видно, те, кто сошел с грузовиков, разгоняли их своим появлением, и они безропотно уносили ноги.

Скоро опять утихло. Движение прекратилось. Настороженные зрачки Кудрявцева успокоились, палец соскользнул со спускового крючка.

– Ну и что? Говоришь, не невеста? – Кудрявцев протягивал прерванную нить разговора. – Что ж не обзавелся?

Спросил, а сам усмехнулся твердыми на холоде губами. Он был одинок, не женат. Его краткие сожительства с женщинами приносили хлопоты, раздражение, мучительные разочарования, после которых оставалась долгая непроходящая боль. Вопрос, который он задал, был из числа обычных, когда требовалось установить доверительные отношения с солдатом.

– Зачем рано жениться? – рассудительно ответил Таракан. – Надо сперва жизнь узнать, поездить, посмотреть. А уж потом жениться. А то женишься, дети пойдут, так всю жизнь вокруг них и провертишься!

– Где ж ты хочешь поездить?

– Везде. У нас сосед Гена «челноком» мотается. В Китае побывал, в Польше, в Турции, два раза в Италию ездил. Денег накопил, живет отлично. Из армии вернусь, тоже «челночить» начну.

– На что деньги копить будешь?

– В Бразилию поеду. На Амазонке бабочек половлю. Мечтаю бабочку на Амазонке поймать.

Кудрявцев удивился простодушию Таракана, в котором уживались взрослая рассудительность и наивная детская мечтательность.

– Мулатку привезешь из Бразилии.

– А хоть бы и мулатку! – Эта мысль понравилась Таракану, он завозил в темноте ногами, видимо представляя, как приведет на дискотеку мулатку и, на зависть друзьям, станет танцевать с ней карнавальный танец.

Кудрявцев продолжал удивляться этому упрямому молодому стремлению в будущее, которое представлялось Таракану непременно счастливым и радостным. Только что пережитое несчастье, бойня, смерть товарищей не сломали этого молодого стремления. И он, Кудрявцев, с тяжелым, холодившим колено автоматом, должен направить это стремление снова в бой, в кровь, в смерть.

Грузовики на площади вдруг разом загудели и включили фары. В их белом свете клубился синеватый дым. Водители повыскакивали из кабин, стали поспешно открывать борта. Из-за подбитых броневиков и танков стали появляться люди. Они шли парами и несли тяжелые нагруженные носилки. Клали их на землю у грузовиков. Поднимали с них мертвые тела и, раскачивая за руки и за ноги, забрасывали в кузов. Было видно, как мертвецы взмахивают в воздухе разведенными конечностями, слышался стук тела о твердые доски.

Люди с носилками уходили обратно, в скопление сгоревших машин. Их место занимали другие. Снова взлетали в воздух черные растрепанные тела, деревянно стучали о кузов. На платформах постепенно скапливались неровные сползающие груды. И тогда несколько человек, оставляя носилки, забирались в кузов, ровняли гору убитых.

Это длилось час или больше. Истошно кричали вороны. Светили бело-голубые фары. Иногда в их свет попадало бледное неживое лицо, голая, без обуви, нога. И все, кто был в доме, прижавшись к черным стеклам, следили, как нагружаются труповозы. Три грузовика с открытыми бортами, с черными рыхлыми грудами, похожими на торф, медленно, тяжело покатили с площади. И за ними пешком, усталая, уходила похоронная команда.

Глава десятая

Медленно тлела огнями, сочилась дымами зимняя ночь. Смертельная опасность, погнавшаяся за ним по заснеженной улочке вдоль железных ворот и оград, догонявшая его автоматными очередями, эта опасность отступила. Бригада, в которой он служил и которая была домом для него и для множества близких и важных ему людей, а также для тех, к кому он испытывал неприязнь, и тех, к кому он был равнодушен, но составлял живую среду, в которой он только и мог обитать, – бригада напоминала теперь огромную неопрятную свалку, где тлели зловонные костры и пахло горелым железом и костью. И Кудрявцев в эти минуты затишья пытался понять, какая роковая ошибка случилась, что привело их всех к поражению и смерти.

Скорее всего, виной тому были невежество и дурь генерала. Тупое, бездарное было в том, как он на глазах офицеров играл полководца. По-ермоловски, в домашних чувяках, ходил по карте, по-свойски, по-домашнему заправил в шерстяные носки брюки с лампасами. Оскорбил начальника штаба, усомнившегося в нелепом приказе. Курсантом в пехотном училище Кудрявцев изучал тактику боя в условиях густонаселенного города, где каждый оконный проем, каждая подворотня превращались в позицию гранатометчика, в гнездо снайпера. Огневая мощь танков, долбящий огонь самоходок перемалывали опорные пункты противника. Пехота занимала развалины, добивая оглоушенных врагов, обеспечивала коридоры для дальнейшего продвижения брони. Тупое невежество и чванливая дурь загнали незащищенные колонны в город, подставили их под удар.

Генерал был виноват, но был виноват и министр. Долгоносый, с маленьким лбом, тесно посаженными птичьими глазами, он был похож на упрямого дятла. Решил сделать себе подарок ко дню рождения, штурмовать в новогоднюю ночь набитый противником город. Чтоб наутро на инкрустированный столик, куда сносили ему дары – клинки в серебряных ножнах, гравированное именное оружие, швейцарские часы с алмазом, золотую табакерку с поющей птичкой, – чтоб на столик легла телеграмма: «Войска поздравляют министра обороны. Русский флаг на президентском дворце». И министр, влажный после бассейна, в розовом махровом халате, читает телеграмму.

Или случилась измена, в штабе округа притаился предатель. Сообщил врагам маршруты колонн. Ведь недаром в момент вступления над чеченским селом взлетела ракета, послала беззвучную весть в далекий туманный город. И по этому тихому знаку засели у окон стрелки, притаились гранатометчики.

Поджидали по-охотничьи, когда на снежные улицы, под желтые фонари выскочит юркая головная машина.

Или он сам виноват. Покусился на льстивые речи, на радушные слова и улыбки, на золотые виноградные кисти, на разноцветные занавески в дверях, где мелькали нежные девичьи лица. И так сладко было пить черно-красное вино из стаканов, трогать горячей рукой деревянный заснеженный стол, и вдруг захрипел взводный, посаженный на нож, все выпучивал голубые глаза, пока лезвие входило в гортань.

Непонимание мучило и дивило Кудрявцева. Он сидел на чердаке под железной крышей и не находил объяснения. Смотрел, как на площади медленно движутся туманные отсветы, словно там догорал огромный ком черной бумаги в тлеющих червячках и личинках.

Он пробрался под крышей, ступая в мягкую чердачную пыль. На другом конце чердака, у слухового окна, притулился Ноздря, казалось, дремал. И Кудрявцев, не желая его резко окликать и тревожить, негромко спросил:

– Ну что, Богу молимся?

– Просто думаю, – отозвался Ноздря, не почувствовал в словах командира насмешки.

– О чем, если не секрет?

– Как оно так получилось, что остался жив. Все ребята из отделения погибли, а я живой.

– И как же все вышло?

Ноздря помолчал, словно собирал то немногое, что успел понять и надумать в краткие минуты тишины после недавнего оглушающего и ослепляющего ужаса.

– Когда началось, я на броне сидел. Грохот, огонь! Машины подскакивают, будто их кувалдой бьют. У одной башню оторвало, и как шмякнет! Рядом наливник рвануло, и вся горючка в небо взлетела и оттуда полилась огнем. Ребята, которые побежали, как раз под этот дождь попали. Я только успел сказать: «Господи, спаси, если можешь!» Больше ничего не помню, как бежал, как спасался. Вы окликнули, тогда и очнулся. Должно, Господь ангела-хранителя послал, он меня и вынес!..

Кудрявцев, еще недавно услышь такое, не удержался бы от едкой насмешки или отмахнулся, подумав: вот еще один чудик явился в армию из гражданской искореженной жизни, в которой развелось множество молодых уродцев, не способных подтянуться на турнике или метнуть гранату. Синюшные наркоманы, истеричные панки, капризные пацифисты, чахоточные и астматики, плоскостопые и кришнаиты, рокеры и слабоумные – пестрое и дистрофичное скопище, из которого он, офицер, в краткое время должен был создать боевое подразделение, способное выиграть бой.

Теперь же, пережив ужасное истребление бригады, потеряв роту и оставшись в живых, он был готов объяснять случившееся действием злых нечеловеческих сил, погубивших неодолимую мощь войска, присутствием среди этих черных сил загадочной и благой воли, выбравшей его среди тысяч обреченных людей и спасшей от смерти. В заснеженном чеченском дворике, залитом вином, бараньим жиром и кровью убитых товарищей, внезапная страстная и могучая сила подняла его на крылья, перенесла через изгородь, устремила вперед по улице, отводя бьющие в упор очереди. Провела сквозь взрывы и фонтаны огня в этот безлюдный дом, словно заранее приготовила это убежище в ожидании пожаров и взрывов.

Слушая солдата, он чувствовал, что тот обладает таинственным знанием, ему, Кудрявцеву, недоступным, и в этом превосходит его. Уступая в силе, уме и опыте, способен понимать и объяснять необъяснимое для Кудрявцева. И хотелось спросить его об этом знании, выведать и, быть может, в минуту предстоящей опасности положиться на это знание, в нем найти опору и крепость.

– Откуда молитвы знаешь? – спросил Кудрявцев, боясь, что Ноздря замкнется и больше не станет говорить о своем сокровенном. – Ты вон по всякому поводу молишься.

– У меня отец священник. Мы с мамой в церкви поем. Армию отслужу, поступлю в семинарию, тоже священником стану.

– Дело семейное. Церковь у вас большая?

– Красивая, намоленная. Лет двести стоит. Ни разу не закрывали.

На черном ледяном чердаке, в угрюмом враждебном городе, у дымящихся остатков бригады Кудрявцев представил церковь, золотую, туманную, с мягким свечением лампад, стеблевидными свечами, множеством смиренных и кротких лиц, родных и знакомых, среди которых, если пристально к ним приглядеться, увидишь тетушек, маму и бабушку.

Виденье было драгоценным, спасительным, и, когда исчезло, на ледяном чердаке, среди балок, труб и железа, стало теплее, словно в доме вдруг затопили.

– Вот ты Бога молишь, что у него спрашиваешь? Как жить, что делать?.. А можешь спросить, какая у нас судьба впереди? – Кудрявцеву были удивительны собственные вопросы. Он осторожно допытывался, стараясь не спугнуть солдата, дорожил этой необъяснимой своей зависимостью от него. – Можешь у Бога спросить, что нас ждет впереди?

– К нам в церковь баба Марфуша приходит. Богомолка. По разным монастырям, по святым местам разъезжает. Полгода нет ее, а потом появляется. Она говорит, всюду по церквам иконы плачут. Из икон слезы льются. А это к беде. Быть в России большой беде.

– Куда больше-то?

– Еще больше будет. У нас в церкви икона Архангела Гавриила. У него на щеке слеза прорезалась. Будто смолка заблестела. Ангел заплакал.

– О чем?

– Не знаю…

Кудрявцев попытался представить длинную высокую икону с красной лампадой, опущенные до земли отяжелелые, утомленные крылья и на смуглом лице, среди темных складок и осыпавшейся позолоты, – крохотную яркую искру, выступившую каплю смолы.

– За что нам такая беда? – спросил Кудрявцев, глядя на площадь, где слабо румянилась остывавшая сталь, плавал слоистый дым и продолжали метаться сошедшие с ума ночные вороны. – Кто так рассердился на нас?

– Бог. Значит, есть какой-то грех.

Кудрявцев прежде никогда не говорил, не слышал об этом. Удивлялся серьезности, которая звучала в словах солдата. Юнец, уцелевший в бою, исцарапанный и измазанный сажей, посаженный Кудрявцевым у слухового окна в ожидании нового боя, знал и ведал нечто, что было сокрыто от Кудрявцева. За этими закрытыми створками, затворенными дверьми, мимо которых много лет проходил Кудрявцев, присутствовало иное пространство, иная, недоступная Кудрявцеву жизнь. Казалось, солдат вышел к нему из-за этих дверей, присел ненадолго у слухового окна, чтоб сказать несколько странных невнятных слов и снова исчезнуть. Затворить перед Кудрявцевым двери, оставляя в глазах исчезающую золотистую щель, смуглого ангела с печальной лампадой.

– Если молишься, значит, веришь, что Бог поможет. Помолись хорошенько, чтоб нам помог.

Кудрявцев просил солдата заступиться перед кем-то могучим и недоступным, к кому путь для самого Кудрявцева был закрыт. Поручиться за него, передать его просьбы. Он вдруг испытал острое стремление, страстное, связанное со своей беззащитностью влечение туда, сквозь железную крышу, в вышину, в небо, населенное могучей благой безымянной силой. Обращался к этой силе с просьбой избавить их всех от смерти, унести из этого дома, от этой сгоревшей площади. И так жарко и наивно он об этом просил, так напряглась и устремилась его душа, что на миг показалось – чьи-то теплые огромные ладони протянулись к нему сквозь крышу, вычерпали, вынесли прочь, перенесли в родные места, в городок, к синему деревянному дому, к тесовой ограде с висящим материнским платком.

Очнулся. По площади, наискось от догоравших обломков, по белому снегу двигалось скопление людей. Неясное, клубящееся, вытянутое в длину, словно несли какое-то тяжелое бревно или рельсу. Приблизившись, вышли на освещенное место, двигались вдоль дома в сторону привокзальных строений.

Кудрявцев различил длинную колонну людей, окружавших ее конвоиров. На конвоирах были кожаные куртки, чеченские папахи и кепки. На тех, кто шагал в колонне, – танковые шлемы, солдатские «чепчики», расстегнутые бушлаты. Гнали пленных, и Кудрявцева поразила черная, липкая, оставляемая на белом снегу тропа. Такая тропа тянется за раненым лосем, в красных брызгах, в талых окровавленных лужах.

Можно было ударить из автоматов, послать поверх голов пугающие очереди, чтобы охрана упала на снег, обороняясь от внезапного нападения, а пленные побежали врассыпную, спасаясь в окрестных улицах. Или, собрав солдат, внезапным коротким броском кинуться наперерез колонне, втянуться в молниеносный истребляющий бой, перебить охрану, а спасенных пленных увести в дом, вооружить, создать из них боеспособную роту.

Но в следующую минуту и то и другое показалось безумием. Навлекало ответный удар множества невидимых, притаившихся по соседству врагов. Кудрявцев, не поднимая автомат, тоскуя, смотрел с чердака.

Пленные вдруг смешались, затоптались на месте. Конвойные закричали, нацеливая автоматы, проталкивая колонну вперед. Пленные, повинуясь, двинулись дальше, вытягиваясь в вялую вереницу, словно были связаны длинной веревкой.

На снегу остался сидеть человек, сгорбился, опираясь на снег руками. Конвоир подскочил, стал пинать, бить прикладом. Отошел, нацелил автомат. И Кудрявцев ожидал увидеть короткую вспышку. Но из колонны выбежали двое, вернулись к упавшему, подхватили под руки и втроем, ковыляя, побрели догонять остальных. Конвойный кричал, грозил автоматом, и чувствовалось, как не терпится ему выстрелить.

Все его солдаты были живы, вооружены и накормлены. Расставлены на огневые позиции. Оставались невидимы для противника, спрятаны в глубине затемненного дома. Им следовало как можно дольше не обнаружить себя ни светом, ни звуком, ни дымком сигареты. До начала утреннего наступления, до подхода свежих частей. Оказавшись в тылу чеченцев, они ударят, смешают их оборону, облегчат продвижение своим.

Сквозь чердак Кудрявцев вышел на другую половину дома. Спустился мимо тихих закрытых квартир на второй этаж, где у окна, почти невидимый и, казалось, недышащий, сидел Крутой.

– Не спишь? – тихо спросил Кудрявцев, нащупывая жесткий рукав его бушлата.

– Да нет, – чуть слышно отозвался тот, и мерцающее окно слабо затуманилось от его дыхания.

– О чем таком думаешь?

– Аккумулятор, блин, подвел! Говорил прапорщику – смени аккумулятор, наш сдох!.. «Нету да нету! Тылы подойдут, сменю!» Вот они и подошли, тылы!.. Заглох танк, сдвинуть его не смогли. Был бы аккумулятор, вырвались! Хрен бы они нас взяли!

– Сожгли танк?

– Целехонек! Снаряд в пушке! А движок не завелся. На прапорщика, гада, сейчас взглянуть!..

Кудрявцев подумал, что не следовало сейчас смотреть на прапорщика. Лежал где-нибудь застреленный у танка с босыми скрюченными ногами. Или превратился в закопченный скелет с оскаленным, полным коросты ртом. Или брел сейчас, хрипя, в колонне пленных, и чеченец-конвоир тыкал ему в бок автоматом. Не следовало смотреть на прапорщика.

– Ты сам-то откуда? – спросил Кудрявцев, опять прибегая к нехитрому испытанному способу, сближавшему малознакомых людей, солдата и офицера.

– Из Омской области. Деревня Горбовка. – Крутой шевельнулся, словно родное слово согрело и оживило его.

– Крестьянский сын? – усмехнулся Кудрявцев.

– Ну! – согласился тот.

И у Кудрявцева возникла странная мысль: когда-нибудь в старости, прожив долгую жизнь, он поедет в деревню Горбовку. Там его встретит немолодой молчаливый мужик, темный от земляных трудов. Они узнают друг друга. Будут сидеть в деревенском доме. Под лампой на клеенке блестит бутылка, миска с кислой капустой. Захмелев, они вспомнят этот каменный дом и как вместе бок о бок сидели у окна, касаясь автоматами.

– Какая семья у тебя, какое хозяйство? – Эта встреча казалась возможной, отвлекала от близких, никуда не исчезнувших страхов, переносила их в другое время, где они уцелели и выжили.

– Какая семья? – охотно делился Крутой. – Мать, отец и сестренка. Отец из совхоза ушел, взял землю. Держим корову, телку. Батя лошадь купил, пашем.

– Лошадь? Почему не трактор? – допытывался Кудрявцев, не желая терять эту успокаивающую, отвлекающую от напастей мечту.

– Трактор солярку жжет, масло. Не напасешься. А лошадь всегда прокормим. Летом пасем, а на зиму в овраге накашиваем, – солидно объяснял Крутой.

И опять Кудрявцеву показалось, что солдат в чем-то опытнее его и мудрее. Помимо временной армейской жизни, где танки, пушки с казенником, аккумуляторы и разгильдяи-прапорщики, где этот злосчастный поход на город и случившийся страшный разгром, у парня есть другая, главная жизнь, где его поджидают влажные глухие овраги с темной травой и цветками дудника, дом с голубыми наличниками, травяной холм, на котором в мелком дожде пасется рыжая лошадь.

– У меня в танке фотка осталась, – сказал Крутой. – Мы с сестренкой на лошади. Я бы вам показал. Да жаль, там осталась.

Крутой с сожалением смотрел на площадь, на сожженную колонну, где среди искореженной техники стоял уцелевший танк с заглохшим мотором. И в башне у сиденья наводчика была прикреплена фотография – рыжая лошадь, парень и девочка щурятся на яркое солнце.

– Сестренку-то как зовут? – спросил Кудрявцев. Но солдат не успел ответить. Снаружи раздались голоса. Приближались, неразборчиво звучали за стеклами. Они оба отпрянули от окна, выставили автоматы.

На снегу замелькали тени, и мимо дома, громко разговаривая, прошли чеченцы, вооруженные, бодрые, возглавляемые командиром. И в том, кто шел впереди, Кудрявцев, невзирая на сумерки, узнал Исмаила, непокрытую голову с откинутыми назад волосами. Даже во тьме было различимо его красивое загорелое лицо.

Следом шли другие чеченцы, и среди них – Кудрявцев его тоже узнал – пожилой седоватый профессор, сидевший рядом с ним на лавке. Их сопровождали несколько молодых вооруженных парней, и сзади, отставая и опять нагоняя, семенил мальчишка в смешной, похожей на петушиный гребень шапочке.

Проходя мимо дома, мальчик снова отстал. Нагнулся, зачерпнул липкий снег. Слепил из него снежок. Пульнул в темные окна дома. Снежок сочно ударил о стену, и этот звук разбившегося сырого снежка отозвался в доме, как в гулком пустом ведре.

Чеченцы удалились, и Кудрявцев облегченно поднялся, расслабляя руку, поддерживающую автомат.

Он вернулся в незапертую квартиру, из которой они вынесли мебель. На кухне, на продавленном диванчике увидел Филю. Тот скрючился, укутанный в старушечьи обноски, и плакал. В темноте было видно, как вздрагивают его тощие плечи. Слышались всхлипы, которые, едва появился Кудрявцев, перешли в рыдания.

– Ты что? – испугался Кудрявцев, наклоняясь к нему.

– Боюсь! – захлебывался Филя, закрывая лицо руками. Кудрявцев попытался отнять от лица его худые холодные пальцы, чувствуя на них обильные теплые слезы. – Все равно нас убьют!

– Да брось, возьми себя в руки! – пробовал прикрикнуть Кудрявцев, жесткой командирской волей прервать рыдания солдата. – Отставить слезы, тебе говорю!

– Нельзя нам здесь оставаться… – со стоном, с привыванием выговаривал Филя. – Убьют нас здесь обязательно!..

– Ты же не курица! – Кудрявцев испытывал к нему неприязнь, нарастающую брезгливость к его всхлипам, липким придыханиям, жалким подпрыгивающим плечам. – Ты – солдат! У тебя боевые товарищи!

– Боюсь, – повторял Филя, втискиваясь в диванчик худыми лопатками, словно хотел спрятаться от Кудрявцева, от его недружелюбного голоса, от тяжелого автомата.

И эта беззащитность солдата, страх, который вызывал в нем Кудрявцев, вдруг больно поразили его. Он устыдился своего грубого голоса, выносливого, натренированного тела, своего превосходства над солдатом, которого он вырвал из пекла и тут же снова направил в строй, в пекло, в ужас и смерть.

– Ну что ты, что ты! – тихо сказал Кудрявцев, усаживаясь рядом, обнимая его легонько за плечи. – Успокойся, брат, ничего!

Солдат вдруг прижался к Кудрявцеву, и тот, обнимая его, чувствовал, как тот худ, слаб, как дрожит от слез его узкая вздрагивающая грудь.

– Мне домой надо!.. У меня мама одна!.. У нее астма!.. У нее приступ бывает!.. Когда задыхается, некому вызвать врача!..

Кудрявцев испытывал к нему горестное сострадание, незнакомую прежде отцовскую нежность. Гладил его по стриженым волосам, увещевал, уговаривал, как обиженное, огорченное дитя:

– Ну ладно… Не надо… Все будет нормально… Все будет у нас хорошо…

Постепенно Филя утих. Всхлипывал, прижимался к Кудрявцеву. Тот аккуратно уложил его на диван.

– Давай отдыхай. – Он поднялся, оставляя Филю лежать. – Утром завтрак всем приготовь. Заступишь на пост. Тебе Чижа подменять… Давай я тебя укрою.

Он сходил в комнату, нашел сваленное в угол одеяло, принес и накрыл Филю, подтыкая ему одеяло под ноги. Филя, скрючившись на коротком диванчике, молча благодарно вздохнул, подкладывая себе ладони под щеку.

Кудрявцев стоял у окна и смотрел на истлевающую площадь. Рассредоточенные по дому, на чердаке и на лестничных клетках притаились солдаты. Филя всхлипывал во сне. Прилип к стене дома брошенный снежок. Кудрявцев, вместивший в себя весь огромный истекший день и разбухшую катастрофой непомерную ночь, просил кого-то, управляющего смертями и жизнями, сберечь их от гибели. Если этот Могучий услышит его: вернет Чижа к его альбомам с рисунками, Таракана – к коробкам с бабочками, Ноздрю – к ангелу с печальной лампадой, Крутого – к золотистой лошади, если Филя встретится с матерью, а он, Кудрявцев, увидит свой отчий дом, – то в благодарность за избавление он изменит всю свою жизнь. Станет заниматься самой черной и тяжелой работой, а добытые деньги раздаст беднякам. Или скроется на острове среди студеного моря и один, среди волн и льдов, ночных полярных сияний, станет размышлять над тем, как устроен мир, кто правит и царит в мироздании.

Он дал обет, не зная, существует ли тот, кому он его давал. Подхватил с пола подушку, поднялся на третий этаж, кинул на ступеньки подушку, уселся, прижался к стене. Он закрыл глаза, и под набрякшими веками стали беззвучно взрываться наливники, выплескивая фонтаны огня. Отрывалась и летела в небо черная башня танка. Бежали, обнявшись, два огненных танкиста, падали, охваченные липким пламенем, искрилось черно-красное в стакане вино. Блестели выпуклые глаза Исмаила. Нож с костяной рукояткой погружался лейтенанту в горло. Черная птица сидела на крышке люка, открывала свой алый зев. И все крутилось, летело, как беззвучная карусель, и он, мальчик, гнался за перламутровой бабочкой, скакал на золоченом коне, и все пропадало в метели.

Глава одиннадцатая

Из бизнес-клуба после яркой и утомительной ночи гости разъезжались наутро. На озаренное крыльцо, на красный, запорошенный снегом ковер выходили дамы в серебристых мехах, мужчины – в полураспахнутых длинных пальто и искрящихся шубах. Из духоты, из горячих восковых ароматов попадали в метель, в летящий синий снег. Привратники бережно сводили их с крыльца, подсаживали в лимузины. Машины, брызнув бриллиантовыми огнями, взбивая пух, уносились в сугробы, в вихри, в туманное зарево улиц.

Бернер усадил жену в тяжелый разлапистый джип, в его бархатную теплую глубину, из которой выглядывал мускулистый предупредительный шофер. «Чероки» был подарком жене. Марина любила кататься в этой скоростной, на жирных колесах, с могучим мотором карете.

– Отдыхай, дорогая, я вернусь попозже. Навещу юбиляра-министра!

Смотрел, как исчезают в пурге рубиновые хвостовые огни. Наслаждаясь холодным ветром, струйками снега, залетавшими под шарф, ловко, легко нырнул в салон «Мерседеса», в пряный, пахнущий вкусными лаками сумрак. На переднем сиденье, рядом с водителем поместился Ахмет. Охрана наполнила машину сопровождения, и обе, разбрасывая фиолетовые сигнальные вспышки, ринулись в метель.

– Давай-ка в баню, к министру! – приказал Бернер, вдавливаясь в замшевое сиденье.

Он не устал, был бодр и свеж. Освобожденный от дурных предчувствий, в предвкушении скорых успехов смотрел сквозь стекло на длинные серебристые вихри, летящие вдоль фасадов и окон.

Москва была пуста, улицы завалены снегом. Только летели навстречу светофоры, размытое пламя витрин, шаровые молнии фонарей.

Этот простор и полет по озаренной Москве действовали на Бернера пьяняще. Город принадлежал только ему. Для него были подсвечены янтарные фасады, переливались огромные хрустальные витрины. Выставляли ему напоказ золотые украшения, меха, автомобили, рояли, бутылки с заморскими винами, розовые окорока, живых, в изумрудных аквариумах рыб.

Все остальные люди были унесены метелью, освободили ему улицы, площади, перекрестки, чтобы он, Бернер, мчался, летел сквозь ночной прекрасный город.

Казино распушило павлиний переливчатый хвост, в котором блистало множество разноцветных огней. Здание банка напоминало синий кристалл, наполненный сгустившимся, твердым от холода воздухом. Ночной клуб мелькнул озаренным подъездом, из которого, как из ракушки, исходили непрерывные волны света.

Это была новая Москва, не похожая на ту, унылую, темную, обветшалую, где прошла его юность, где во дворах и подворотнях притаились печальные образы его сумеречного и тревожного детства. Эту Москву, отнятую у одряхлелых правителей, они, люди новой эпохи, отстроили заново. Обновили особняки и дворцы. Одели в драгоценные розовые, зеленые, золотистые цвета ампирные фасады. Позолотили купола возведенных храмов. Москва, омытая молодыми энергиями, осыпанная новогодним серебром, казалась ему прелестной женщиной с жемчужной улыбкой, румяными устами, темными, расчесанными на пробор волосами.

Так страстно и нежно чувствовал он Москву. Проносился по набережной вдоль реки с черными дымящимися прорубями и сахарными льдами, за которыми, словно розовое зарево с вкраплением красных звезд, парил Кремль.

Ему вдруг неодолимо захотелось в эти первые часы нового года побывать на Красной площади.

– Сверни-ка на мост! Давай к собору на площадь!

– Что, Яков Владимирович, может, прямо в Кремль? – не улыбаясь, спросил Ахмет, оборачивая свое каменное, опушенное бородкой лицо.

– Не сейчас, через пару лет! – ответил Бернер, не понимая, шутит он или верит в такую возможность.

Они промчались по мосту навстречу выраставшему из синего воздуха храму. Он был похож на громадный разноцветный чертополох, поднявшийся из заваленной снегом площади.

Машины остановились у собора. Бернер вышел, и его сразу же подхватили под руки огромные снежные великаны. Повлекли вдоль каменного парапета, кидали в лицо обжигающие горсти снега, слепили глаза изразцами, чешуйчатыми черепицами, белокаменными резными завитками.

Собор качал в пурге головами, как огромный динозавр. Дышал ледяным огнем, пыхал белой ртутью, доставал красными языками.

«Хорошо, – думал Бернер, огибая собор, оставляя позади размытые тени телохранителей. – Хорошо!.. Русь-матушка!»

Он вышел на площадь. Она выгибалась перед ним, и, казалось, ее кривизна была кривизной самой земли. Кремль, розовый, запорошенный, в зазубринах и зубцах, был столь огромен, что скрывался за выпуклостью земного шара. Топорщился заусенками, золотыми кустистыми крестами, чернел проемами и бойницами.

Площадь была белой, с черными пролысинами брусчатки. Казалась огромной льдиной, полярной шапкой, в которую был вморожен, застрял в торосах, стиснутый страшным давлением льдов, красный ледокол. Рубиновые звезды, окруженные морозным заревом, стояли над площадью, как дикие светила, зажженные в черно-синей полярной бездне.

«Как хорошо!.. – думал Бернер, испытывая сладостный мистический ужас перед площадью, на которой во все века пыталась закрепиться, обосноваться, зацепиться за брусчатку эфемерная жизнь, но ее, как былинку тундры, сдувало страшным вихрем, уносило прочь в черноту. – Нет, меня не снесет!..»

Он пришел на эту площадь, как победитель. Князья, цари, патриархи, оперные – в высоких шапках – бояре, кирасиры, гвардейцы, комиссары в кожаных куртках, вожди в фуражках и шляпах, их шествия, парады, колонны, их почетные караулы и катафалки – всех сдуло, унесло в черно-синюю трубу мироздания, где туманно, как вмороженная в небо кровь, пламенели звезды. Но теперь пришел он.

Бернер замерзал. Сквозь тонкие подошвы его ноги примерзали к площади, словно он стоял на раскаленном магните. Но ему было хорошо. Площадь принадлежала ему. Кремль с Теремным дворцом, Георгиевский зал с золотыми надписями гвардейских полков были его. Царь-колокол и Царь-пушка, Иван Великий и Архангельский собор, усыпальницы русских царей принадлежали ему, Бернеру. И возникла безумная мысль: здесь, на Красной площади, в центре Москвы и России, он, Бернер, отпразднует свое пятидесятилетие. На этой площади, где Сталин говорил в микрофон, откуда уходили полки в туманную военную даль, где падали на гранит Мавзолея штандарты с крестами и свастиками, здесь, на площади, он, Бернер, справит свой скорый юбилей.

Будет стоять на Мавзолее, приветливо махать рукой, улыбаться. Мимо пойдет вал праздничных воодушевленных людей. Карнавал Рио-де-Жанейро с танцовщицами, барабанами, бубнами. Рок-певцы со всех континентов, гремя ударниками и перламутровыми гитарами. Манекенщицы лучших мировых кутюрье. Победительницы конкурсов красоты в пленительных позах. Топ-модели с лакированных ослепительных обложек. Звезды Голливуда, награжденные «Оскарами». И он, Бернер, загорелый, в белом костюме, любящий их всех и любимый, будет махать им рукой, посылать с Мавзолея воздушные поцелуи.

Эта мысль не казалась ему невозможной. Его богатства, воли и власти, перед которыми склонится страна, будет достаточно для осуществления этого плана. И чтобы площадь знала об этом, чтобы уже сейчас почувствовала его господство, ему захотелось тронуть властной рукой брусчатку, оставить на площади свой отпечаток.

Он нагнулся, коченеющей ладонью стал разгребать снег, открывая темно-синий вороненый камень. Медленно приблизил к нему ладонь, помещая белые пальцы в черный квадрат. Прижал к камню. И почувствовал страшный удар, словно тронул электрический провод, будто к камню была подведена обнаженная высоковольтная жила. Площадь ударила в него током, отбрасывая. Он упал на парапет храма, смотрел испуганно вверх на заметенные купола. Они начинали шевелиться, вращаться, хрустели своими каменными зубцами, верещали шестеренками и валами. Не храм, а огромная мясорубка захватывала в себя Бернера, дробила ему кости, ломала череп, выдавливала и выпихивала кровавую жижу.

Он был пропущен через жуткую камнедробилку Красной площади, и она выплевывала на снег липкий мусор его перемолотых костей, красную жижу истертой плоти.

Он очнулся от бреда. Туманно-розовый Кремль. Недвижный, запорошенный снегом собор. Телохранители наклонились над ним:

– Что случилось, Яков Владимирович?

– Пошли! – сказал Бернер, не понимая, что с ним стряслось. – В баню… К министру…

Баня министра находилась почти в самом центре, среди каменных теснин, окруженная и скрытая от глаз высоким забором и бдительными стражами.

Автоматчики пропустили Бернера и одного из телохранителей, который нес следом подарки – персидский ковер, привезенный из Хорасана, и кривую саблю в золотых ножнах с изречениями из Корана.

– Пожалуйста, проходите! – сияя лаской, встретил их полковник-порученец, в легком спортивном костюме, влажный и розовый.

Они миновали маленький предбанник, где был размещен узел связи, батарея телефонов, связывающих баню с Кремлем, министерством, штабами, округами, космическими и ракетными войсками. Дежурный связист молча поклонился Бернеру.

Прошли второй предбанник, напоминавший музейную комнату, с портретом Петра I, с бюстами Суворова и Кутузова, с памятными вымпелами, сувенирами, макетами подводных лодок, ракет, самолетов.

Вошли в третий предбанник, в трапезную, где витал банный дух, пахло шампунями, вкусной едой, напитками, стоял широкий стол с лавками, уставленный бутылками, снедью. За этим столом голые, сбросив простыни, сидели министр и его ближайший сподвижник, генерал, ведающий психологическими и моральными вопросами армии. Оба утомленные, розовые, влажные, только что оттуда, из-за заветной двери, где пылающий жар, звенящая жаровня, белые, как кость, лежанки. Знаменитая парилка министра, содеянная лучшими специалистами военно-промышленного комплекса по патентам финских банщиков, с использованием рецептов бурятских колдунов, ведающих тайнами тибетской медицины.

– Здравия желаю, товарищ министр! – комично вытянулся на пороге Бернер, прикладывая ладонь к виску на польский манер, ладонью навыверт. – Прибыл в ваше распоряжение засвидетельствовать почтение и поздравить с днем рождения!.. Раскрывай! – обернулся он к охраннику.

Тот положил на пол шерстяной рулон, раскатал черно-малиновый, с дымчатым ворсом ковер, покрытый ромбами, вензелями, таинственными восточными знаками. Поверх ковра выложил кривой клинок, вытянув его наполовину из ножен. Министр воззрился на подарки синими острыми глазками, помещенными в розовые ободки воспаленных век.

– Ковер-самолет! – жизнерадостно захохотал генерал-затейник, потряхивая большой, костистой, как у лошади, головой и крупным, дряблым, отвыкшим от упражнений телом. – И меч – голова с плеч!

– «Все мое», – сказало злато. «Все мое», – сказал булат, – подхватил его хохот Бернер. – Да здравствует союз булата и злата!

– Подойди, поцелуемся! – позвал министр.

Бернер, как был в своем дорогом вечернем костюме, подошел и обнялся с министром, чувствуя его скользкое, в бисерном поте, распаренное тело и влажные вялые губы.

– Ну что, по маленькой!.. С Новым, как говорится, годом! – привычно хватая бутылку, предложил генерал-затейник.

– Погоди, пусть сперва пар примет! А то у него и так нос крючком, да еще и синий! – Министр грубовато и любовно похлопал Бернера тяжелой лапой десантника, даванул его худые кости, отчего Бернеру стало больно. – Давай, Яша, сними с себя костюм. А то ты похож на презерватив без усиков!

Это сравнение задело Бернера, как и упоминание о его крючковатом носе. Но он не подал виду, не позволил себе обидеться. Большую часть жизни министр провел в казармах, на стрельбищах и на локальных конфликтах, что вполне извиняло характер его юмора.

Бернер раздевался в предбаннике перед большим зеркалом, совлекал с себя широкоплечий костюм, шелковый галстук, тонкие носки и белье. В зеркале перед ним возникал худосочный человек с сутулыми плечами, впалой грудью, тонкими ногами, поросший кое-где редкими волосками. Бледный, блеклый, как чахлый стебель, на котором висела большая понурая голова. Он испытал брезгливость к самому себе, к непрочно поставленным на пол стопам, к прыщику на груди, к некрасивому рубцу от аппендицита, к вялым гениталиям. Попытался напружинить бицепсы, напрячь грудь и живот, но картина вышла комическая, и он, истязая себя, желая продлить страдание, стоял в позе культуриста, похожий на кузнечика или богомола.

Он вернулся в трапезную, где два крепких мужика чокались стаканами с виски. Насмешливо смотрели на него пьяными голубыми глазами.

– Пошли, Яша, примем парок, – сказал министр, грузно выбираясь из-за стола. – А ты сиди тут, мешай нам виски с содовой, бармен! – приказал он затейнику, не пуская его в парную.

Министр и Бернер из прохладной благоухающей трапезной проникли сквозь плотную дверь в сухое раскаленное пекло, где туманился похожий на прозрачное пламя воздух, белели, как шлифованная кость, лежаки, и Бернер, опаленный, ужаснулся этому раскаленному аду. Почувствовал ожог в ноздрях, словно оттуда полыхнуло огнем. Ему показалось, что редкая кудель на груди и в паху задымилась и запахло паленым волосом.

– Поддавать не будем, возьмем сухой! – сказал министр. По-обезьяньи ловко вскарабкался на самый верх, шевеля розовыми ягодицами. Сел, выставив тяжелый подбородок. Оскалил зубы, вдыхая сквозь них огнедышащую смесь, от которой выпучились и еще поголубели его глаза. На бело-розовом пятнистом теле министра образовался легчайший стеклянистый налет пота.

– А я уж здесь, в низинке, – охал Бернер, подкладывая под себя прохладное седалище и устраиваясь ближе к дверям. – Помаленьку-полегоньку…

Он ненавидел бани, особенно их свирепую разновидность, сопровождаемую жратвой, попойкой, неистовой гульбой, напоминавшей мясокомбинат, где среди кипятка и пара, рева и стенаний колыхались розовые ободранные туши. Однажды в детстве с добропочтенным соседом он попал в Сандуновские бани. Зрелище полутемной, похожей на огромную пещеру парилки, где, тесно прижавшись, стояло множество голых людей: костлявые старики, угрюмые, насупленные мужики, нежные отроки и младенцы, – и их накрывало шумом, паром,

жгло огнем, и под сводами пещеры раздавались стоны и вопли, – это зрелище стойко соединилось у него с образом ада или фашистских газовых камер, и, слыша о Страшном суде или зверских истреблениях евреев, он вспоминал Сандуновские бани.

Теперь он сидел, съежившись и тоскливо ожидая, когда на его тощих чреслах и опущенных плечах выступит пот. Снизу смотрел на министра, на его мозолистые, с желтыми ногтями стопы, на бугристые, отекающие бисером плечи, на красные рубцы и шрамы – следы боевых ранений. Сверху на Бернера из-под липкой челки напряженно, как электрические фонарики, смотрели немигающие голубые глаза.

– Хотел поинтересоваться, как идет операция… Как дела в Грозном? – Бернер спросил как бы невзначай, между делом, хотя был уверен – министр зазвал его в эту туманную преисподнюю, чтобы перемолвиться парой слов без риска быть услышанным и записанным.

Министр молчал. Выталкивал из всех пор обильное липкое вещество. Засасывал в легкие струи жара. Потом поднял руку и, делая напутственный жест, произнес:

– Войска идут, идут, идут…

– А почему, скажи на милость, начали наступление сегодня? Ведь хотели в середине января!

Министр молчал, жмурился, выдавливал пот из глаз. Соскребал его растопыренной пятерней от плеча через грудь, оставляя на теле красную борозду.

– Был разговор президента с Клинтоном… – сказал он. – Труба с Апшерона пройдет через Чечню. Там к февралю должно быть спокойно. Тогда американцы вложат деньги. Президент приказал наступать…

Бернер знал о звонке президенту. Через дружеские связи с президентской родней, которой он оказывал множество непрерывных деликатных услуг, он слышал об этом звонке.

Американские нефтекомпании осваивали кавказскую нефть. Вкладывали миллиарды в нефтяные поля, трубопроводы, танкерный флот. Бесцеремонно ломали границы, мирили лютых врагов, ссорили недавних друзей. Наматывали на черную ось нефтяной трубы пространства Кавказа. Бернер участвовал в этом проекте, сулившем несметные прибыли. Неутомимо летал в Тбилиси, Баку, Ереван. Оплетал невидимой для глаз паутиной президентов, премьеров, министров. Сам был уловлен в мировую незримую сеть, как крохотная блестящая мушка.

Сидя в парилке, закрыв глаза, вспомнил недавнюю поездку в Стамбул – синяя гладь Босфора, белый корабль и стеклянный фасад небоскреба, отражающий восходящее солнце.

– Прости, что я еще раз напоминаю… – Бернер, обжигая язык, проталкивал слова сквозь кипящий воздух, где капельки пота мгновенно испарялись, а пар распадался на жалящие сухие молекулы. – Ты обещал сохранить в неприкосновенности все производственные мощности из тех, что я пометил на карте. На них не должен упасть ни один снаряд, ни одна бомба! Деньги на счет указанной фирмы уже поступили, можешь проверить. И будут еще поступать. Но каждый снаряд, упавший на нефтехранилища, будет уменьшать сумму. Прости, что это сказал…

Министр блестел, затуманенный, с каплей на носу, был похож на огромный оттаивающий окорок. Бернер с брезгливостью смотрел на этот тяжелый кусок сала, вдыхал воздух, наполненный ядами, вытекающими из тела министра. Задыхался, чувствовал сердцебиение, мечтал поскорее выбраться из этой газовой камеры, совмещенной с крематорием. Но стоически оставался для продления разговора.

– Ты мне дал этот контакт с Азербайджаном, – сказал министр, сбивая пот с бровей, и несколько капелек, жирных и горячих, как воск, долетели до лица Бернера. – Приезжали два азера от Алиева, туда по контракту пойдет оружие – танки, бэтээры, самоходки. Прямо с заводов, в смазке. А не может так выйти, что они пойдут из Азербайджана в Чечню? Станут работать против моей группировки?

– У тебя есть служба разведки, – ответил Бернер. – Отслеживай их маршруты в Чечню. Пусть твои соколы их разбомбят, если что. Тут нет возражений. Деньги заплачены.

Министр был, как тающий снеговик. Весь в блеске, влаге, испарениях. Красная морковка торчала из середины лица, и было неясно, как он воспринял слова Бернера. Услышат ли их вообще сквозь тампоны глухого горячего воздуха.

– И еще, – сказал Бернер, переставляя свои худосочные стопы и глядя на темный, быстро высыхающий отпечаток. – Я, как обещал, дам тебе поставщиков продовольствия, топлива и амуниции. Для всей группировки на время чеченской кампании. О ценах договоримся. Проплата – на счет той же фирмы…

Бернер, сидя внизу, чувствовал, как сверху катятся на него валы жара, словно накаленные булыжники. Ему хотелось выскочить в прохладный предбанник. Он проклинал первобытные забавы, которым предавались угрюмые жаростойкие «государственники» из «русского» окружения президента – из Совета безопасности, ФСК, Министерства обороны. Предпочитали в «неформальной обстановке» решать государственные проблемы. Он был вынужден париться и пить вместе с ними. Охотиться на лосей, соскребать с раскаленной сковородки звериную кровь, задыхаться от ядовитой водки. Он отдыхал от их общества в компании интеллигентных людей, на изящной яхте, скользящей по Бискайскому заливу или Женевскому озеру. Пил только некрепкие, подогретые или с кристаллами льда напитки и вина. Мылся в большой мраморной ванне, полной голубоватой благоухающей воды. Уединялся в просторном, с перламутровым кафелем туалете, с небольшой, тщательно подобранной библиотекой. Баню и охоту он терпел как временное и неизбежное зло, которое кончится вместе с устранением из окружения президента этих недалеких, малообразованных «государственников».

В дверях, в стеклянном оконце, появилась физиономия генерала. Он не решался войти без приглашения. Прижал к стеклу нос, плющил его, делал страшные рачьи глаза, раскрывая пасть, изображая чудовище. Желал привлечь к себе внимание.

Министр долго смотрел, как корчит рожи его затейник. Махнул, приглашая войти.

Генерал шумно, с топотом влетел, затаскивая с собой эмалированный таз, в котором лежали размоченные темно-зеленые веники.

– А вот и мы!.. – топтался он косолапо. – По вашу душу пришел!.. Косточки ваши пересчитывать!..

– Давай его отстегай! – приказал министр. – А то сидит, как собака на заборе!.. Веники привозные, подарочные!.. Эвкалипт!.. Из сухумского батальона!..

Бернер пытался противиться, умоляюще воздевал тонкие руки, злился на сравнение с собакой. Но бороться было бесполезно. Затейник уже расстелил на горячем дереве сухие простыни. Уже хлюпал в тазу размякшим, пускавшим зеленый сок веником. С силой, ласково приговаривая, завалил Бернера:

– А вот мы сейчас потягушечки!.. А вот мы сейчас всю дурь-то и выбьем!..

Бернер улегся лицом вниз, закрыв глаза и ужасаясь. Слышал, как шелестит над ним эвкалиптовый пук, нагоняя раскаленные вихри, от которых хотелось выть. Генерал сверху шмякнул ему на шею липкий обжигающий ворох. Придавил так, что у Бернера перехватило дыхание. Он попробовал вывернуться, но огромные ловкие лапищи удержали его, и на спину, на ягодицы, на икры посыпались ровные хлесткие удары, от каждого из которых в нем все содрогалось и из открытого рта вылетали стоны и повизгивания.

– А вот мы теперь вдоль… А вот мы теперь поперек…

Бернер, окруженный гулом, свистом, падающими ударами, больничными запахами смолы и эфира, был на грани обморока. Генерал-мясник терзал его, мял его телеса, водил по хребту своим огромным, как зубило, пальцем.

В полуобморочном сознании Бернера вставали страшные образы истязаний и пыток. Он ненавидел этих двух мужиков, боясь, что они его здесь задушат и зажарят. Но терпел «ради дела», цепко держа это «дело» в глубине помраченного рассудка.

– Хватит! – сказал министр. – А то его жену вдовой оставишь!.. Веди его с нами в сугроб!..

Они вытолкали его из парилки, но не дали подойти к столу, где стояло желанное пиво, а дружескими и довольно болезненными тумаками подогнали к едва заметной дверке в стене.

– Давай-ка банкира кувырком!..

Оба, здоровенные, красные, окутанные паром, повлекли его за руки, исхлестанного, как библейского мученика. Пнули дверь и втроем из теплой озаренной трапезной выкатились на снег, на мороз, под синие небеса, к рыхлому сугробу, от которого при их появлении отступил солдат в полушубке и валенках, с деревянной лопатой.

– Яшка, вперед! – Министр пнул Бернера, и тот кувырком рухнул в раскаленную глубину, забив глаза, ноздри и рот мягким снегом, как клюквина, обсыпанная сахарной пудрой.

Рядом барахтались, по-медвежьи ревели от восторга оба военных.

Бернер, едва не плача, чувствуя, что сейчас умрет, вырвался из сугроба и стремглав вернулся обратно в трапезную, а оттуда в парилку. Упал на лежанку, часто, по-собачьи, дыша, глядя, как тает, исчезает на его дрожащем животе снег.

Скоро ввалились министр и его сотоварищ. Счастливые, героические, будто совершили подвиг. Взгромоздились наверх, красные, литые, синеглазые, словно отлитые из цветного фарфора.

– Вот, брат Яша, отведал русской бани!..

Потом отдыхали за столом. Военные подливали себе виски, а Бернер жадно цедил прохладное немецкое пиво. Не мог унять жажду, будто каждая клеточка обезвоженного тела впитывала капельку золотистого пива.

– Выпьем за нашего лидера, за нашего министра! – Генерал-затейник приподнялся и говорил грозно, но одновременно подобострастно. – Его уважает наш президент! Любит армия, офицерский корпус! Принимает народ! Потому что он не только военный, не только стратег, но и политик с большой буквы!.. Ваша карьера, товарищ министр, еще далеко не закончена! Вам предстоят еще очень и очень большие дела и очень большие посты!.. Но об этом, как говорится, ни слова!..

Генерал сделал каменное лицо, приложил к губам толстенный палец. Влил в себя стакан виски. Стоял, выкатив глаза, выставив мокрую губу, выпуская длинную струю воздуха.

Министр сидел, покачиваясь, сутуля голые плечи. Уставил в одну точку немигающий злой синий взгляд.

– Не за меня надо пить, а за русского солдата, который сейчас, в эти минуты, выполняет в Грозном приказ Верховного!.. Нет такого другого солдата в мире, как русский солдат!.. Он защищает Россию, народ, а мы для него награды жалеем!.. Да я бы вперед наступающих частей пустил самосвал с орденами и медалями!.. Лопатами их сгребай, сыпь на улицы, чтоб части, которые в город вошли, с асфальта их подбирали и винтили себе на грудь!..

Голова его с мокрой короткой челкой клонилась к столу. Он упирал в доски тяжелые кулаки, враждебно глядел на Бернера.

– Русский солдат за вас, банкиров, головы свои кладет!.. Небось ни один ваш сынок, ни один выкормыш по команде «Вперед!» не встанет!.. Нет там ваших сынков, одни рабоче-крестьянские дети!.. А вы им чем платите?.. Хоть бы ботинки нерваные подарили!.. Хрен-то, все себе гребете!.. На русском солдате экономите!..

Он наливался глухим бражным гневом, который, как сок, подымался по костям и суставам, словно по древесным волокнам. Набухал в голове, и она, будто крона с тяжелой сырой листвой, гудела и колыхалась.

– Я тебе говорю, прикажи своим писакам вонючим оставить в покое армию!.. Они, солдаты, за ваше сучье богатство кровью харкают, а вы вместо благодарности в спину им из своих телекамер стреляете!.. Я тебя предупреждаю: тронешь пальцем солдата, разнесу тебя в клочки, как того воробья чирикающего!..

Он ударил кулаком по столу, на скулах его заходили белые желваки, и было слышно, как заскрипели его зубы.

– Вы, суки, у нас допрыгаетесь! Вы русских куда задвинули?.. Русскому человеку дохнуть нельзя!.. Нефть ваша, сталь ваша, алюминий ваш!.. А русскому что, хрен собачий?.. Погодите, придет ваш черед! Скоро, мать вашу, поймете, кто в России хозяин!

Эта пьяная ненависть, синий жестокий взгляд были адресованы Бернеру. Его ненавидел министр. Пользовался от его щедрот, получал выгоды за услуги, входил в долю невидимых глазу проектов, связанных с поставками в армию, с распродажей военного имущества, с использованием военного транспорта и авиации. Ненавидел Бернера глубинной, упрятанной ненавистью, которая вдруг после огня и снега, после водки и виски обнажилась, как ископаемый мамонт в горе после оползня.

И Бернер оробел перед этой обнаженной, готовой его уничтожить силой. Откликнулся на ненависть ненавистью.

В министре, в его друзьях, в директорах военных заводов, в руководителях силовых министерств, в губернаторах, в этих косноязычных деревенских мужиках Бернер видел угрозу своему благосостоянию. Своим банкам, заграничным счетам, особнякам, влиянию на семью президента, образу жизни и стилю, с каким он обставлял жилища, руководил телеканалами и прессой. Выстраивал сложную, непрерывно меняющуюся схему поведения, в которой эти мужики, не ведая того, служили его интересам. Пополняли его богатство, увеличивали его мощь, двигали вперед к победе. Эта мощь была столь велика, столь замаскирована, что в момент, когда он двинет ее вперед, она, как землетрясение, сметет в одночасье все это неповоротливое чванливое мужичье. Срежет ослепительной бритвой, оставив одни кокарды и пустые пивные банки.

Так думал он, не давая воли своим оскорбленным чувствам. Тонко посмеивался, погружая губы в желтое пиво.

В трапезную осторожно, на цыпочках, вошел порученец-полковник:

– Товарищ министр, вас «Юг» на связь!

– Приспичило!..

Министр крутанул головой, как бык, у которого на рогах зацепилась копешка сена. Стряхнул ее, тяжело поднялся и, закрывая наготу простыней, пошатываясь, вышел. Туда, в узел связи, где среди батареи цветных телефонов ждала его снятая трубка.

Сквозь приоткрытую дверь слышался неразборчивый рык министра. Минута тишины, и снова рык.

Он появился в дверях, трезвый, растерянный, побледневший. Простыня волочилась за ним в кулаке. Его голое, на крепких кривых ногах тело казалось приплюснутым, словно получило сверху удар.

– Жопошники! – просипел он. – Подставили бригаду!..

– Что-то в Грозном? – спросил Бернер, чувствуя неладное.

– Бригада несет большие потери!.. Под трибунал отправить педерастов!..

– Пробьются! – пробовал успокаивать его затейник. – Выпьем маленько!

– Заткнись!.. В министерство!.. Всю авиацию в воздух!.. Бомбить черножопых!..

– Но ты не забудь про заводы! – запротестовал Бернер.

– К черту!.. Сотру черножопых!..

Они быстро и нервно одевались. Натягивали брюки с лампасами. Не застегивая рубашек, влезали в кители. Порученец помогал министру управиться с шинелью.

Военные ушли, а Бернер, голый, все еще сидел за столом. Медленно пил пиво, думая, знает ли о случившемся Вершацкий, друг и партнер, которого ожидает пуля снайпера.

Глава двенадцатая

Кудрявцев проснулся от холода, загонявшего острые буравчики под лопатки. И еще от чего-то, необъяснимого, как приближение звука. Открыл глаза – тусклый свет из лестничного окна освещал неопрятную стену, какие-то процарапанные в штукатурке надписи, грязный потолок с пятном копоти и прилипшим огарком спички. Взгляд его переместился ниже, на первый этаж, на лестничную площадку с тремя затворенными, обитыми дверями.

Одни из дверей растворились, и на пороге в бледном свете, похожая на видение, появилась женщина.

Кудрявцев оставался сидеть, и ему казалось, что это продолжение сна. Женщина едва касалась порога и словно колыхалась, волновалась, как облако, созданная из тумана, зыбкого света, воздушных потоков. Протяни к ней руку, и встретишь пустоту, тронешь стену, а изображение женщины исчезнет.

Но оно не исчезло. Наполнилось плотью, объемом, цветом. Дверь слабо звякнула, зазвучали шаги. Женщина вышла на лестничную площадку и смотрела на Кудрявцева снизу вверх. Она была высока, с белым большим лицом, светлыми, зачесанными на прямой пробор волосами. На плечи ее было накинуто осеннее, неплотно застегнутое пальто. Кудрявцев, окончательно приходя в себя, рассматривал ее плотные ноги, выступавший под пальто живот, крупную грудь. Подтянул к себе автомат, не наводя ствол, спросил:

– Ты кто?

– Я здесь живу, – ответила женщина. Голос у нее был тихий, по-утреннему тусклый. Слабо прозвучал на промерзшей лестничной клетке.

– Откуда взялась? – грубо повторил он вопрос. Тревога не проходила, но все больше превращалась в изумление. Появление женщины в замурованном доме, с растяжками в подъездах, с недремлющими постами казалось неправдоподобным. Только бестелесное существо могло пройти сквозь кирпичные стены.

– Я была здесь, в квартире.

– А другие?

– Всех прогнали. Чеченцы по квартирам ходили. «Вы нас, говорят, за двадцать четыре часа выслали. А теперь вам тридцать минут на сборы». В воздух из автоматов стреляли. А я в шкафу спряталась.

– Нас видела?

– Видела, как вас побили. Думала, вы нас выручать придете. А вас побили.

– Видела, как мы сюда забежали?

– Слышала. Выйти боялась. А теперь вышла.

У Кудрявцева вдруг возникло странное чувство, будто бы дом, который казался вымершим, случайно возникшим на пути их бегства, на самом деле был приготовлен для них этой женщиной. Она охраняла его, открыла им двери, впустила в минуту смертельной опасности.

– Подъезды заминированы, – сказал Кудрявцев. – Не вздумай туда ходить.

– Не пойду, – сказала она.

Снизу из квартиры высунулся Филя, серый от холода, с подглазьями от перенесенных мучений. Не удивился появлению женщины.

– Товарищ капитан, – жалобно произнес он. – Вы велели завтрак готовить. Все съедено. Ни хлеба, ни холодца!

– У меня есть, – сказала женщина. – Иди со мной! – позвала она Филю.

Из чердака на звуки голоса показался Таракан, пялился удивленно на женщину.

– А вы говорили, товарищ капитан, утром прибудут морпехи. Это морпех?

Кудрявцев был рад его синеватым от холода, раздвинутым в улыбке губам.

– Мы вон в ту квартиру залезли. Похозяйничали без спроса. Пусть простят нас хозяева. – Он извинялся перед женщиной, хранительницей дома, в чьи владения совершили вторжение.

– Там хорошие люди живут, – сказала она, – Курбатовы, Андрей Никитич и Мария Лукинична, пенсионеры. Простят они вас.

– Тихо, – цыкнул Таракан, чутко наставил ухо на лестничное окно. Ноздри его маленького носа втягивали воздух, подрагивали, словно он хотел унюхать приближавшуюся опасность.

Кудрявцев на цыпочках, чтобы не звучали шаги, спустился к окну и выглянул. Площадь туманилась, испарялась. Вяло тянулись дымы, чернели обглоданные остовы броневиков, были разбросаны и вмазаны в снег бесформенные обломки железа, клочья ветоши, грязные сальные брызги. Там, где снег не растаял, по его белизне в разные стороны разбегались следы – людей, собак, автомобильных колес. Едва заметная тропка вела к дому, соединяла подъезд с отдаленным, на спущенных колесах грузовиком.

Кудрявцев тоскующим взглядом осматривал мрачную картину побоища – огромный черный скелет, оставшийся от бригады. И при этом пунктирно, зорко простреливал взглядом все направления, по секторам, определяя опасные зоны.

Спустился ниже к Чижу. Слышал, как Таракан почти бесшумно соскользнул вслед за ним по ступеням. Втроем, по-разному вытянув шеи, наклонив головы, слушали приближавшиеся голоса.

– От стекла!.. От стекла!.. – Кудрявцев взмахом руки отгонял солдат в глубь лестничной клетки. Отступил в сумрак. Мог видеть освещенную заснеженную площадь, оставаясь невидимым.

К дому приближались чеченцы. Впереди вышагивал, расставив для устойчивости ноги, поскальзывался на талом снегу Исмаил. Автомат на плече. На шее пышный, похожий на бант шарф. Смоляные волосы тяжелыми космами отброшены назад. Теперь, при утреннем свете, он еще больше напоминал актера, игравшего в исторических фильмах благородных романтических героев. Кудрявцев отметил это сходство и тут же испытал к нему острую ненависть. Вспомнил, как он картинно стрелял через стол, пробивая наморщенный лоб солдата.

Следом быстро шагали стрелки в модных кожаных куртках с заброшенными на плечо автоматами. У одного из-за спины торчал гранатомет, заправленный остроконечной гранатой. Они смеялись, жестикулировали, показывали на обломки танков. Один из них поскользнулся, поехал по снегу, но другой сильной рукой подхватил его на лету.

Следом, приотстав, задыхаясь – усатое лицо окутывалось паром, – торопился немолодой «профессор» в длиннополом пальто, в невысокой каракулевой папахе. Почему-то без оружия, должно быть, его пистолет был по-прежнему засунут за пояс. Он что-то говорил, стараясь привлечь внимание молодых, но те не оборачивались, что-то объясняли друг другу на пальцах.

Замыкал группу все тот же юркий мальчик в красной, торчащей, как петушиный гребешок, шапке. Старался догнать взрослых. На боку его поверх пальто болтался тяжелый штык-нож, трофей, подаренный после ночного побоища.

Основная группа уже миновала дом. Кто-то рассеянно, без интереса взглянул на окна. Мальчик опять задержался, должно быть, увидел на кирпичной стене отпечаток своего разбившегося снежка. Нагнулся, стал собирать липкий снег. Сделал снежок. Примеривался, раздумывая, куда бы его пульнуть.

Из квартиры, с третьего этажа, держа в руках тарелку с ломтями хлеба и какой-то нарезанной снедью, появился Филя. Громко шаркая, шлепая по ступеням, спускался по лестнице, кашляя и жалобно причитая:

– Газа нету, электричества нету. Ни чай не согреть, ни кипяток…

Таракан обернулся, беззвучно зашипел. Прижал к фиолетовым губам грязный палец, погрозил Филе кулаком.

Тот не понял, за что ему грозят, приблизился, подошел к окну, поставил на подоконник тарелку.

– Что случилось?

Мальчик углядел его сквозь стекло. Обомлел. Снежок так и остался неброшенным. Слабо вскрикнув, мальчик со всех ног кинулся догонять удалявшуюся группу. Было видно, как трясется его красная петушиная шапочка и болтается на боку штык-нож.

– Блин!.. Чмо!.. – Таракан размахнулся и с хрустом врезал Филе в лицо. Тот отшатнулся, раскрыл рот, и из носа его побежала струйка крови. – Убью, педрила!

– Отставить!.. – Кудрявцев оттолкнул плечом Таракана. – Нашли время!..

Филя задыхался от слез, беззвучно плакал, размазывая по лицу кровь. На подоконнике стояла тарелка с бутербродами. Сквозь грязное стекло туманилась серая площадь, было тихо, только покрикивали редкие вороны. Весь грай с наступлением утра снялся и улетел обратно на пригородные помойки и свалки.

– По местам!.. – придушенным голосом приказал Кудрявцев. Гневным прищуренным взглядом отогнал Таракана вверх на чердак, а плачущего Филю – подальше от окна. Прижался к простенку, выглядывая на площадь, держа автомат вертикально, чтобы в любое мгновение окунуть ствол вниз, направить на площадь.

Время тянулось вяло, как волокна сырого дыма. Кудрявцев с тоской оглядывал окрестность, в которой тонули нечеткие контуры городских строений. Где войска? Где наступление? Где рокот канонады, когда огневой вал перемещается из квадрата в квадрат, перетирая в прах укрепления, расчищая проходы пехоте? В прорубленные коридоры, сквозь кирпичную пыль, долбя из пулеметов, устремляются юркие боевые машины. Останавливаются, прячась за развалины, в корме открываются тяжелые двери, и из них высыпает десант. Бегут, слабо постреливая из автоматов, залегая в груды битого камня. Где вертолеты, их длинные тритоньи тела, черные ковры взрывов? Где морпехи, их нестройное «ура», бело-синий с красной звездой флаг?

Так думал Кудрявцев, прижимаясь к простенку, чувствуя, что кончается их беззвучное немое сидение в доме и сквозь желтый туман за ними уже наблюдает множество внимательных глаз, слушает множество чутких ушей.

Не было наступления войск. Не было артналета и атаки морской пехоты. Только издали звучали редкие выстрелы и шальные автоматные очереди.

Без голосов, без смеха, без говора чеченцы вернулись. Теперь они шли осторожно, держась плотной группой. Не было с ними мальчика в красной шапочке. Автоматы они держали в руках, и было слышно, как чавкает у них под ногами снег. Остановились поодаль от дома, всматриваясь в окна, этаж за этажом.

Кудрявцев боялся, как бы из чердачного незастекленного окна, за которым притаился Ноздря, не вырвалось облачко пара.

Молодые чеченцы остались поодаль, расставили ноги, приподняв автоматы. Исмаил медленно, пружиня, стал приближаться, похожий на сильного большого кота, готового отскочить и отпрыгнуть. Кудрявцев видел его широкий бронзовый лоб, большие, под черными бровями, глаза. Можно было с верхних ступенек, сквозь стекло, осыпая осколки, ударить в упор, погружая очередь в плотное, хорошо сформированное тело, в пышный, прикрывающий горло бант.

Исмаил подошел к дверям, стал невидим. Близко внизу слышалось шуршание его подошв, звяканье двери, забаррикадированной, притороченной к стариковскому шкафу.

– Эй! – негромко позвал он. – Кто там есть, выходи! – Помолчал, прислушался. Прошелестел, невидимый, вдоль стены. Подошел к другому подъезду. Подергал запертую, заложенную трубой дверь. – Давай выходи!.. Лучше будет!.. Давай поговорим!..

Кудрявцев боялся шевельнуться, хрустнуть суставом и жилкой. Скосил глаза на лежащую в углу горку гранат. Кинуть бы одну сквозь окно, услышать короткий тупой удар.

Исмаил отошел от дома, опять стал видим. Оглядывал окна, оглаживал свои черные, жесткие, как у жеребца, волосы.

– Лучше открой, тебе говорю!.. Гранатометом в двери шарахнем!.. Найдем тебя, пулю получишь!..

Постоял, развернулся и быстро, почти бегом, поеживаясь, словно чувствуя спиной следящую за ним мушку, удалился к остальным чеченцам. Что-то им объяснял. «Профессор» в каракулевой шапочке вытянул руку и переводил ее с одного подъезда на другой.

Гранатометчик, выворачивая локоть, снял из-за спины трубу. Положил на плечо, направляя к дому торчащую брюкву гранаты. Отступил в сторону, чтобы реактивная струя не задела товарищей.

Кудрявцев сбежал со ступенек, подсел на четвереньках к простенку, усаживая рядом с собой медливших Чижа и Таракана.

– Берегись осколков!..

Услышал, как хлопнула налетающая граната и тут же ударилась, прошибла подъезд, взрываясь, наполняя лестницу грохотом, щепками, дымом, тугой волной, отраженной многократно от стен, прокатившейся по ступенькам. И пока еще хрустело и сыпалось, Кудрявцев отжался от пола, кувыркнул ствол автомата в окно и вслепую, наугад ударил очередью. Тут же осел, шмякнулся об пол, лежал, прислушиваясь к крикам снаружи.

Медленно приподнялся, поднимая голову над подоконником, готовый мгновенно упасть и спрятаться.

На снегу лежал человек. Остальные чеченцы убегали. Оглядывались, продолжали бежать, скрывались в туманных палисадниках.

«Профессор» лежал на снегу, головой к дому. Каракулевая шапочка его слетела, валялась перед ним. Голова, сливаясь с шапочкой, казалась неестественно большой, удлиненной. Кудрявцев думал, что он мертв, но тот шевельнулся, заскреб снег, приподнял голову. Открылось лицо со щеткой усов и снова упало в снег.

– Добейте его, товарищ капитан! – Таракан нетерпеливо топтался у окна, уже готовый просунуть ствол в расколотое дующее окно.

– Отставить! – оборвал Кудрявцев, вглядываясь в лежащего.

Лежащий на земле человек был первый, в кого Кудрявцев выстрелил и попал. Его воля, страсть, ненависть, его зоркий глаз и удачливый выстрел срезали живого человека, и боль, которую тот испытывал, рана, быть может смертельная, которая мучила его, были результатом его выстрела.

Еще вчера на его глазах вероломно зарезали и застрелили его солдат, заживо сожгли, разорвали в клочья сотни его товарищей, жизнелюбивых и здоровых людей. И этот подраненный пожилой чеченец – первый ответ на это жестокое избиение – не был полноценным возмездием. И все равно, вид подранка поразил Кудрявцева.

Он понимал, что это первые его выстрелы, за которыми скоро последуют другие. Опасность, грозящая их жизням, стремительно приближается. И не время переживать и раздумывать, а следует сохранять все душевные силы, направляя их в неизбежный бой. И все-таки изумление оставалось – тот человек, что лежал на снегу лицом вниз, был подстрелен им, Кудрявцевым. В его теле, среди костей и порванных сухожилий, застряла пуля, посланная из его автомата.

«Профессор» отнял от снега лицо, вытянул вперед локоть и медленно подтянулся. Вытянул второй локоть, подтянулся и снова упал. Было слышно, как он что-то жалобно прокричал.

– Я б его, суку, добил! – не унимался Таракан.

Кудрявцев понимал, что обугленная, разваленная на бесформенные куски бригада, убитые и сожженные товарищи взывают к отмщению. К этому же призывал его зарезанный, похожий на херувима лейтенант, убитый выстрелом в лоб мордвин, тощий, перерезанный очередью контрактник. Но все равно он не мог поднять автомат, выделить лежащего на снегу человека, раскроить ему темя одиночным прицельным выстрелом.

«Профессор» полз, останавливался, опять принимался ползти. За ним на снегу тянулся розоватый след. Видно, пуля попала ему в пах или живот, и он, остужая боль, прижимался к ледяной земле. Было непонятно, почему он ползет к дому, откуда прилетела пуля. Может быть, в помрачении он двигался туда, где находились люди, надеясь на помощь. Или его помутившийся разум, как головка самонаведения, выбрал линию, по которой примчалась пуля, и не мог от нее отклониться.

Кудрявцев смотрел на седую, с растрепанными волосами голову, на испачканное снегом пальто, на волочившиеся в мокрых брюках ноги. «Профессор» по виду не был врагом. Жил в одной с ним стране, читал в институте лекции почти таким же молодым, как и он, парням. Какая ненависть заставила его рыться на животе, вытаскивать пистолет, чтобы пристрелить Кудрявцева? Та же самая, что, подобно метеору, ударила в бригаду, испепелила ее, оставила зловонное кострище.

«Профессор» подполз совсем близко. Поднял к окнам невидящие глаза и что-то запел, тоскливое, как вой волка. Он пел, чтобы русские, застрелившие его, слышали его предсмертную песню.

«Где войска?» – думал с тоской Кудрявцев, слушая высокий, булькающий и хрипящий вой чеченца.

Кудрявцев спустился на первый этаж, осмотрел поврежденные двери. Взрывом разломало створки, расщепило и сдвинуло шкаф. На улицу выводил узкий светлый прогал, в котором дымились подожженные доски.

– Можно буфет приволочь, – предложил Таракан. – Заделаем брешь.

– Не напасешься, – отозвался Кудрявцев. – Чиж, дурила, спрячь кумпол, а то пробьют!

Он отодвинул Чижа от окошка и, прячась за выступ, опасаясь шальной пули, снова стал наблюдать.

Из садов, из проулка выбежал человек. Пригибаясь, виляя, помчался через пустое пространство, опасаясь выстрела. Добежал до грузовика и скрылся за брезентовым кузовом.

Через минуту второй, под стать первому, пробежал, нагибаясь, виляя змейкой. В руках у него был крупный желтый предмет, напоминавший кувшин. Кудрявцев не стрелял, желая понять, в чем смысл этих рискованных перебежек. Что за предмет, похожий на эмалированный жбан, протащили с собой чеченцы.

Третий чеченец, из числа сопровождавших Исмаила, придерживая автомат, пробежал к грузовику, юркнул в кабину.

– Залупить бы из гранатомета, – предложил Таракан, – чтоб клочки полетели!..

– Там, в кузове, ящик «Шмелей», – сказал Чиж. – Огнеметы рванут, от нас клочки полетят!

Грузовик стоял вдалеке от дома. Одновременный подрыв комплекта огнеметов, начиненных аэрозолью, мог выбить стекла, опалить стены огненным жаром, но не больше. И все-таки не стоило рисковать, не стоило расходовать одну из двух имевшихся в запасе гранат на эту отдаленную, трудную для попадания цель.

Грузовик дернулся, издал жужжащий звук. Прокатил на спущенных колесах и стал. Чеченцы, укрывавшиеся за кузовом, догнали его и снова спрятались. Мелькнули их кожаные куртки, автоматы и что-то еще, желтое, лакированное, похожее на кувшин или миску.

Снова зажужжало, грузовик поехал, дергаясь и вихляя на ободах. Стал, и двое чеченцев нагнали его, заслонились брезентовым кузовом. Тот, что сидел в кабине, пригнулся, и его почти не было видно.

– Завели, суки! – раздражался Таракан. – Мы бы тоже смогли! Ночью драпанули б отсюда!

– На стартере толкают, – сказал Чиж. – Аккумулятор посадят, и хана!

Чеченцы подгоняли грузовик, оставаясь под защитой кузова. Кудрявцев понял, что они хотят приблизиться к раненому, вытащить его, укрываясь от пуль. Грузовик был близко от дома, его можно было поразить из гранатомета, но теперь одновременный взрыв комплекта «Шмелей» грозил разрушением дома. И он смотрел, как дергается грузовик, косолапо переваливается на ободах и чеченцы ловко укрываются за его бортами.

Машина дернулась пару раз и застыла. Кончился запас аккумулятора, иссякла мощь стартера. Грузовик стоял вблизи от дома, за ним по снегу тянулся свежий продавленный след.

Раненый перестал ползти. Повернулся на бок лицом к машине. Было видно, как тяжело дышат его грудь и живот, брюки чернеют от талого снега и крови.

– Эй, мужики!.. Дайте взять человека!.. – раздался из-за машины металлический, со свистом и шелестом голос.

Кудрявцев понял, что полированный желтый предмет был мегафон. Чеченцы, рискуя, приблизились к дому, чтобы спасти «профессора».

– Дать им, что ли? – растерянно произнес Чиж, выглядывая из-за выступа.

– Пулю меж глаз захотел? – отдернул его назад Таракан. – Пусть выйдут, перестреляем их, как собак!

– Мужики, давайте по-честному!.. – продолжал увещевать металлический голос, который произносил русские слова с уловимой сквозь мегафон неправильностью. – Мы своего заберем, а вы уйдите, вас трогать не станем!.. Клянусь Аллахом, не тронем!..

Кудрявцев вслушивался в простуженный хрип мегафона. Не расслышал, а расслышав, не сразу обратил внимание на шарканье и шелест у себя за спиной. Оглянулся и увидел Филю: возбужденный, с раскрытым ртом, задыхаясь, он сбегал по лестнице, вниз, к подъезду. Кудрявцев не успел его ухватить, и Филя неожиданно ловко преодолел обломки кровати и шкафа, просунулся в узкую щель, выбежал из дверей.

– Филя! – тоскуя, жалобно крикнул ему вслед Кудрявцев. – Куда ты, Филя!

Но тот не оборачивался. Размахивал вылезающими из коротких рукавов руками, подпрыгивал на длинных ногах, одетый в нелепые стариковские обноски. Бежал не на зов мегафона, а в сторону, по снегу, к близким туманным садам, казавшимся ему убежищем, спасеньем. Он выбирал направление не разумом, не глазами, а испуганным тоскующим сердцем. Направлялся к своему далекому дому, к матери, чувствуя ее сквозь огромное пространство заснеженной дикой земли, привязанный к ней неисчезнувшей пуповиной. Мать беззвучно звала его через снега, побоища, дымные боевые колонны.

Кудрявцев смотрел ему вслед, и такие были боль, бессилие, невозможность догнать, остановить, прижать к себе, заслонить от беспощадных людей, от хрипящего мегафона, от автоматных стволов.

Филя убежал уже далеко, когда из-за кузова грузовика прогрохотала очередь. Нащупала его и настигла.

Филя, подстреленный, еще некоторое время семенил ногами, нес в себе простреливший его огонь. Кудрявцев чувствовал этот огонь у себя в боку, словно ему проломили ребро.

Филя упал, свернулся в калачик, как эмбрион. Принял ту позу, которую занимал в материнской утробе. Соединился с ней в смерти.

Таракан, бледный, с белым хрящеватым носом, взял с пола гранату. Левой рукой, держа автомат, саданул прикладом в окно, вышибая остатки стекла, а правой метнул гранату. Кинул ее навесом туда, где лежал на снегу «профессор». Зеленая, как клубень, граната упала, подпрыгнула, подкатилась к «профессору» и ударила косым взрывом, вырывая из лежащего человека часть плоти. «Профессор» перевернулся на снегу, и вместо лица у него была липкая примочка, словно лицо его облепили красными газетами.

Дым от взрыва маленьким облачком улетал в сторону. «Профессор» лежал на снегу, а поодаль, как темный стручок, лежал Филя. И кругом было множество перепутанных, пересекающихся следов.

Глава тринадцатая

Кудрявцев смотрел сквозь разбитое, дующее ветром окно. Грузовик с комплектом «Шмелей», с притаившимися чеченцами. Убитый, с разорванным лицом «профессор». Свернувшийся в калачик Филя. И тоскливая мысль: когда же придут войска?

Женщина молча обходила посты, обносила солдат бутербродами и графином с холодной водой, в который положила варенье. Поднесла Кудрявцеву стакан, и тот пил сладковатую воду, и ему было непонятно выражение ее глаз: то ли она боялась, то ли жалела его, то ли вопрошала бог знает о чем.

– Как тебя зовут? – спросил Кудрявцев.

– Анна.

– Анна… – повторил он. Имя показалось гулким и холодным, как этот безлюдный дом. Но он был благодарен дому. Был благодарен имени.

– Если хочешь уйти, попробуй с первого этажа, из окна. Не заметят.

– Останусь.

– Будет обстрел.

– Все равно.

Она понесла свой графин с вишневым сиропом дальше, туда, где на лестнице примостился Чиж. А у Кудрявцева осталось странное ощущение от ее холодного имени, гулкого, как затихающий звук.

Ему начинало казаться, что он допустил непоправимую ошибку. Ночью, когда раздобыли оружие, им следовало тут же уйти. Метнуться сквозь черно-красные тени пожара к привокзальным строениям. Вдоль колеи, мимо вагонов, подальше от злосчастного места. Если их будут преследовать, преградят отступление – вступить в скоротечный бой, идти на прорыв. Шесть автоматов, ручной пулемет, гранаты прорежут путь к отступлению, пробьют коридор сквозь ночной ненавистный город. И к утру они выйдут в туманную степь, и в туманах, пустыми полями, обходя стороной селения, двинутся к северу, к родным пределам.

Теперь в этом каменном доме, в мешке, он обрекал на смерть четырех солдат и эту молчаливую женщину, выставлял их, как Филю, под пули врагов.

Его решение – занять оборону, защищать вокзальную площадь до подхода морпехов, выполнить приказ генерала – абсурд и безумие. Бригада разгромлена, и некому выполнять приказ. Разгромлена по вине генерала, и никто не вправе от горстки уцелевших солдат требовать выполнения приказа. Войска не придут на помощь. Генералы – трусы и воры. Министр – лгун и гуляка. Небось парится в утренней баньке, отмокая от ночной попойки. В Москве – богатеи и жулики, дурные, опившиеся мухомором депутаты, косноязычный, корявый, как вывороченный пень, президент. Разбазарили Родину, разорили и исковеркали армию. Остатки из необученных крестьянских сынов, на изношенной технике, с тощим запасом еды бросили на убой. На войну, неясную по задачам и целям. Направили в город, населенный не врагами, не фрицами, а русскими тетками, чеченскими стариками. И эти соотечественники, наливая в стаканы вино, поднося шампуры с бараниной, вонзили нож в розовое горло комвзвода, испекли в угольки бригаду и только что застрелили Филю, который лежит на снегу, словно маленький темный зверек. И, быть может, еще не поздно долбануть из гранатомета в грузовик, подорвать «Шмели», взметнуть над площадью красный шар огня и рвануть к вокзалу, к спасительной колее, уводящей из города в степь.

Он сидел, горевал, и что-то мешало ему отдать приказ к отступлению. Какая-то тяжелая угрюмая сила придавила плитой, удерживала на месте. Вменяла ему, капитану, забытому генералами, оборонять вокзал, сторожить остывающее кладбище бригады, тусклую сталь-

ную колею, по которой должны же через час, через два, если остались в России войска, если остались русские люди, должны подойти морпехи.

Он увидел, как из соседних садов, убеленных еще не растаявшим снегом, над которыми краснели черепичные и железные крыши, из близкого проулка появился человек. Один, в пальто, в зимней шапке, нахохленный и сутулый. Неловко, по-стариковски передвигал нестойкие ноги. Нес в руках флаг, сине-бело-красное полотнище. Не белое – знак переговоров и перемирия, не зеленое, чеченское, с изображением какой-то зверюги, а трехцветный российский флаг, необычный и нелепый среди поверженной российской бригады.

– Какой-то доходяга! – сказал Чиж, осторожно и недоверчиво выглядывая. – Идет на полусогнутых!

Человек шел не к дому, а наискось, к грузовику. Были непонятны его намерения, его маршрут, место, откуда он вышел, и место, куда направляется. Он производил впечатление слепца, идущего с флагом долгие километры, много дней подряд. Теперь он пересекал эту площадь, попавшуюся ему на пути, не ведая о вчерашнем побоище. Пройдет со своим флагом сквозь обломки танков, посты чеченцев, кварталы домов и канет, растворится в зимнем тумане.

Человек дошел до грузовика, опустил флаг. Скрывавшиеся чеченцы приняли его, и некоторое время их не было видно. Через минуту человек показался. В руках его был мегафон, желтый, как огромный лимон. Он несколько раз прокашлялся, и мембрана направила его металлический стариковский кашель в окна дома.

– Русские солдаты, э-э-э!.. С вами говорю я, депутат Государственной думы, э-э-э!.. Депутат… – Человек говорил расслабленным стариковским голосом, прерываясь и издавая странные блеющие междометия. Эта расслабленность, усиленная мембраной, наполняла площадь стариковской немощью, и эта немощь расслабляла и угнетала.

– Я – депутат… – Мегафон взвыл, словно в него вместе с ветром залетела огромная муха, заглушила слова. Кудрявцев не смог разобрать фамилию депутата – то ли Кораблев, то ли Кобылев.

– Я нахожусь здесь по поручению Думы, э-э-э… и российской общественности, э-э-э… которая возмущена развязанной войной в Чечне, э-э-э… и требует прекращения военных действий…

Было необъяснимо появление пожилого депутата среди кровоточащей площади Грозного с дымными остатками бригады, среди чеченцев, которые радостно и свирепо торжествовали свою победу. Стремились добить последний хрупкий оплот обороны, засевших в доме солдат. Кудрявцев стиснул в кулак тающие остатки сил, чтобы выдержать удар победителей, а этот старикашка с развернутым российским флагом пришел под защитой чеченских стволов, дует и блеет в чеченский мегафон. Это походило на мираж, возникший в переутомленном сознании.

Отделенное туманным пространством желтое пятно мегафона продолжало вибрировать, словно транслировало голос бекаса:

– Вторжение российских войск в маленькую Чечню, э-э-э… расценивается мировой общественностью как акт агрессии, э-э-э… и противоречит Конституции… Многострадальный чеченский народ перенес столетний геноцид, э-э-э… как во времена царя, так и во времена Сталина… Нуждается в защите и самоопределении, э-э-э…

Казалось, в руках старика находится огромный желтый бекас. Это его голос, его металлическое верещание слышали солдаты. Бекас верещал и выблеивал о многострадальном чеченском народе ему, Кудрявцеву, который только что в черно-красной, как бред, ночи потерял бригаду, видел, как грузили на платформу обгорелые трупы товарищей, гнали колонну пленных. В зимнем саду его взводный захлебнулся кровью, посаженный на чеченский нож.

Чеченцы, передавшие старику мегафон, застрелили Филю. И теперь этот чахлый депутат, превратившись в желтого бекаса, вещает им о какой-то Конституции.

– Хватит проливать кровь, э-э-э!.. Русские солдаты, говорю вам как представитель российской власти, э-э-э!.. Сложите оружие, э-э-э!.. Это не будет считаться пленом, а поступком совести!..

Слепая бешеная сила поднималась в душе Кудрявцева. Ломила виски, напускала в белки дурную кровь, застилала разум красной поволокой. Мямлящий стариковский голос, наложенный на железные колебания мегафона, слышали не только засевшие в доме, но и сожженные, превращенные в обгорелые кости, кто еще лежал среди танков, висел в остывающих люках, смотрел провалившимися, выкипевшими глазами, скорчился, обклеванный вороньем. Они слушали и ждали, что ответит Кудрявцев.

– Что он там блеет, козел? – Чиж беспокойно обернулся к Кудрявцеву. – Куда он нас вызывает?

– Пойди в квартиру, – приказал Кудрявцев. – Разыщи какой-нибудь картон. Сверни в рупор. Я ему отвечу.

Чиж убежал, а Кудрявцев занял его место на стуле у разбитого окна. Продолжал вслушиваться в мегафонные свисты и трели. Старался спасти свой рассудок от помутнения. Убирал с подоконника подрагивающий автомат.

«Почему, – старался он понять, – почему этот депутат не здесь, в осажденном доме, не с малой горсткой русских обреченных солдат, а с чеченцами, чьи автоматы в нагаре после расстрела бригады? Почему московская власть, все эти журналисты, артисты, говорливые мужчины и женщины, заполонившие телеэкран, не с ними, русскими солдатами, захлебнувшимися в крови? Почему ненавидят Кудрявцева, его лицо, его оружие, его мундир, его речь, ненавидят его способ жить, который является не чем иным, как верностью присяге, которую он дал своей несчастной, забитой и расклеванной Родине, напоминающей разгромленную обезображенную бригаду? Почему ненавидят его, Кудрявцева?»

Сверху из квартиры прибежал Чиж, свертывая на ходу грязный лист картона, на котором виднелись следы старушечьих чайников и сковородок. Протянул рупор Кудрявцеву.

– Русские солдаты!.. – продолжал металлически блеять старик, выдувая свой сип из желтого ядовитого сосуда. – Я гарантирую вам гуманное обращение со стороны чеченских властей, э-э-э… Я лично доставлю вас к самолету, и вы улетите в Россию, сохраняя честь и достоинство воинов… Сложите оружие!.. Выходите!.. Не проливайте кровь!..

Кудрявцев почувствовал, как взорвалась в нем жаркая душная ненависть, словно он натолкнулся лицом на раскаленную стальную плиту.

Он прижал картонный рупор к губам. Направил раструб в расколотое окно. Закричал, вдувая в площадь всю свою ненависть:

– Ты, козел вонючий!.. Педераст!.. Чеченская подстилка!.. Уйди, сука!.. Убери свою трехцветную половую тряпку, повесь ее в своей сучьей думе!.. Или я расшибу твою тухлую башку из «калашникова»!.. Скотина, тебя на фонаре вздернут!.. Через десять секунд, если ты не закроешь свою вонючую пасть, стреляю!.. Раз!.. Два!.. Три!..

Он увидел, как чеченцы схватили депутата за шиворот и втянули под укрытие кузова. Оттуда, из-за сырого брезента, еще некоторое время хрипел и посвистывал мегафон.

– Сука!.. Шкура продажная!.. – повторял Кудрявцев, чувствуя, как пот залил лицо и волосы прилипли ко лбу. – Педераст!..

Сидел на стуле, испытывал страшную опустошенность и усталость. Автомат подрагивал на коленях, и он отрешенно повторял: «Где войска, вашу мать!»

Недолго белая площадь, исчерканная цепочками следов, оставалась пустынной. Из туманных проулков показались люди. Плотно сбитые, казавшиеся издали ватагой подвыпив-

ших, обнявшихся гуляк, медленно, путаясь ногами, приближались. Кудрявцев всматривался, ожидая новых испытаний. Площадь по-прежнему являла собой арену, на которую выходила очередная группа артистов. А они у грязных подоконников были зрителями. Артисты со сцены были готовы стрелять в зрительный зал, по ложам, а оттуда, из-за немытых стекол, в ответ в них полетят автоматные очереди и гранаты.

Люди приближались. Над их головами трепетал белый флаг. Только что мимо окна пронесли трехцветное полотнище, за которым последовала его ненависть и тоска. Теперь же колыхалась грязно-белая тряпица, и от нее исходила угроза, сулящая все ту же тоску и ненависть.

Люди надвигались. Кудрявцев мог их теперь различить и понять, почему они двигались медленной тесной гурьбой. Одна часть их была в армейской форме, в серо-зеленых брюках, комбинезонах, бушлатах, в танковых шлемах или с непокрытыми головами. У одного был перевязан лоб, у другого перемотана шея. Руки их были заложены за спину, и, шагая, они мешали друг другу, словно их связывала веревка.

Среди них находились вооруженные чеченцы в куртках и шапочках, прикрывались пленными, управляли их нестройным движением. Кудрявцев издали узнал Исмаила, его большую косматую голову. Это он держал белый флаг, покачивал им в сыром воздухе. Среди пленных, по мере того как они приближались, среди их серых размытых лиц одно показалось Кудрявцеву знакомым. Он напряженно, остро всматривался, упирая в подоконник цевье автомата.

Гурьба связанных, тяжело бредущих людей с наклоненными телами и вытянутыми шеями напоминала бурлаков, которые впряглись в ремни и тянули по перекатам и мелям непомерный груз. Среди бурлаков, упиравшихся в землю ногами, Кудрявцев узнал комбрига. Не того, чисто выбритого и румяного, с маленькими дерзкими усиками над розовой губой, когда утром вышел из кунга и, сладко потягиваясь, пошевеливал упитанными плечами, из-за которых сочно блеснуло овальное зеркало. Комбриг был в растерзанном комбинезоне, без шапки, его темные усики казались грязными мазками копоти, одутловатое лицо было обведено снизу неопрятной щетиной. Даже издали было видно, что это лицо несимметрично. Одна половина распухла, и под узким заплывшим глазом чернел синяк. Комбриг шел, покачиваясь, и его тело, еще недавно холеное, тяготевшее к удобствам и наслаждениям, к вкусной еде и женщинам, источавшее здоровье и запах дорогого одеколона, теперь страдало при каждом шаге, и он совершал над собой усилие.

Вся группа приблизилась к грузовику, и те, кто прятался за кузовом, вышли и схоронились за спинами пленных, которые, построенные лицом к дому, стояли, заложив руки за спину, и смотрели на окна.

– Под наши пули их выставили? – не понимая, спросил Чиж.

– Крикните им в трубу, товарищ капитан, чтобы легли, а мы по чеченцам врежем!

– Погоди, – сказал Кудрявцев, продолжая вглядываться в пленных, надеясь узнать среди них солдат и офицеров своей роты. Но те, что окружали комбрига, были незнакомы, прапорщики и солдаты из других батальонов и рот.

Вооруженные чеченцы прятались за спинами пленных. Там же укрывался депутат со своим трехцветным флагом. И Исмаил, в чьих руках оказался желтый, ярко отсвечивающий мегафон.

– Эй, мужики! – раздался бодрый голос Исмаила, пропитанный металлическим хрустом и шелестом, словно был завернут в фольгу. – Давайте решим по-доброму!.. Выходи по одному, клади оружие на снег!.. Жизнь гарантирую, клянусь Аллахом!.. Отправим вас домой с Красным Крестом!.. Депутат возьмет ваши письма, передаст родным, что вы живы!..

Он говорил, чуть коверкая по-кавказски слова, менял ударения. Но эти неправильности могли быть результатом мембранных искажений. Желтый мегафон был выставлен между

головами двух пленных, и они, оглушенные резкими звуками, отстраняли головы в разные стороны. Виднелся бронзовый лоб Исмаила, его смоляные волосы.

– Мы, воины чеченской армии, воюем только с вооруженными врагами!.. Вы видели, что мы сделали с вашими танками, которые пришли давить наших детей и женщин!.. Но безоружным мы сохраняем жизнь!.. Здесь находится командир вашей бригады!.. Он хочет сказать, чтобы вы сдавались!

Исмаил опустил мегафон, стал за спиной комбрига и выставил перед его лицом желтый пузырь. Руки комбрига оставались связанными. Нижнюю половину лица заслонял мегафон, и Кудрявцев видел его растрепанные волосы и заплывший, окруженный кровоподтеком глаз.

Кудрявцев старался понять, какая жестокая неумолимая логика соединяет того комбрига, что вчера в натопленной генеральской палатке не вступился за начальника штаба, предрекавшего разгром бригады, с этим, сегодняшним, скрученным грубой веревкой. Тот, вчерашний, позволил разъяренному генералу оскорбить офицера, не рискнул навлечь на себя начальственный гнев, искусился на полковничье звание, на поездку в Москву, поступление в академию, подальше от гиблых проселков, вонючих нужников, заляпанной грязью брони. Нынешний, жестоко избитый, позорно потерявший бригаду, стоял среди врагов, слушая их победные крики.

Комбриг молчал. Исмаил сзади толкнул его. От сильного толчка грузное тело комбрига качнулось вперед. Он сипло закашлялся, задышал в микрофон:

– Прошу назваться, кто, в каком составе находится в доме…

Он умолк, было слышно, как каркают вороны. А у Кудрявцева тоска и бессилие. За что ему такое? Где тот бой, к которому его готовили? Объясняли тактику обороны и наступления, виды вооружения, приемы борьбы. Где долгожданный обещанный бой, в котором он проверит волю и разум, храбрость офицера, использует мощь вверенного ему оружия, сокрушит организацию и волю противника. Вместо этого боя – не имеющее объяснения побоище, резня в ночном палисаднике, сидение в холодном доме, подстреленный Филя, разорванный гранатой «профессор» и комбриг, униженный, сломленный, уговаривает Кудрявцева сдаться.

Испытывая отчаяние, похожую на безумие тоску, Кудрявцев схватил картонный рупор, прижал к губам, закричал воющим волчьим голосом:

– Товарищ комбриг, это я!.. Командир первой роты капитан Кудрявцев!.. Выполняя данный вами приказ, занял оборону по блокированию железнодорожных путей!.. Если вы, товарищ комбриг, стоя на костях погубленной вами бригады, прикажете нам сдаться, то мы подорвем себя гранатами, но никогда не станем рядом с вами, не дадим скрутить себе руки!.. Давай, товарищ комбриг, приказывай!..

Он отбросил рупор и смотрел на пленных, на комбрига, на видневшиеся автоматы и чеченские шапочки, на черные, как у жеребца, рассыпанные волосы Исмаила. Комбриг снова качнулся от удара. Сипло, со свистом прокричал:

– Мочи их, Кудрявцев!.. Руби их, блядей, из всех стволов!.. Приказываю, капитан, мочи их!..

Мегафон убрали, а его открывшееся лицо дергалось, усики скакали над раскрытым кричащим ртом. Нельзя было разобрать слов, только слышались несвязные звуки.

Конвоиры били пленных, гнали их с площади, прятались за ними. В этом клубке торопливых спотыкавшихся тел возникали красно-синие клочья флага, желтизна мегафона. Кудрявцев, провожая своего командира, кричал ему вслед:

– Товарищ комбриг!.. Слышишь меня, комбриг!..

Их уже не было видно. Туманились, испарялись снега. Лежал вблизи иссеченный взрывом «профессор», а дальше зябко скорчился Филя.

«За что мне такое!» – думал в тоске Кудрявцев.

Его зрачки, не мигая, смотрели на белую площадь с черными кляксами следов. Подоконник, консервная банка с окурками, висящий в раме острый осколок стекла, и за ним – туманное пустое пространство, редкие крики ворон.

Время сочилось по капле, и в этой белизне без признаков человеческих жизней что-то совершалось, невидимое, неслышное. Зрачки, устремляясь в белизну, чувствовали пульсацию света, полет световых корпускул, дрожание воздушных молекул, реагирующих на это невидимое и неслышное.

Он увидел, как из палисадников выбежал мальчик в красной петушиной шапочке. Легким скоком, бойко побежал на площадь, петляя, играя, неся под мышкой какой-то матерчатый кулек. Он не боялся засевших в доме автоматчиков, словно не знал о них. Был похож на резвого козлика.

Приблизился к дому, весело взглянул на окна, ловким движением метнул кулек, как бросают мяч. И пока кулек летел и с него на лету соскальзывала тряпица, мальчик убегал, удалялся. Кудрявцев уже не следил за ним, а смотрел, как ударяется, подскакивает что-то круглое, похожее на ржаную краюху. Краюха остановилась, и Кудрявцев увидел и понял, что это голова комбрига обратилась лицом к дому, встала на обрубок шеи. Усики топорщились над приоткрытым ртом. Глаза стеклянно смотрели, и под одним темнел синяк. Волосы на голове слиплись, торчали острыми косицами. Казалось, комбрига зарыли по шею, тело его было в земле, а наружу выглядывала одна голова.

– Товарищ комбриг… – выговаривал беззвучно Кудрявцев. – Как же так, товарищ комбриг…

Сверху спустился, подошел к окну Таракан. Втроем они молча смотрели на отрубленную голову комбрига.

Глава четырнадцатая

Пространство, открывавшееся взору Кудрявцева, состояло из треугольника, протоптанного цепочками следов. Темные тропинки соединялись в вершинах, где лежали труп «профессора», скрюченный, как стебелек, Филя и голова комбрига на красном обрубке, щурившая из-под бровей влажные глаза. В этом треугольнике подошвами пробежавших людей были проведены биссектрисы, высоты, полудуги, разбегающиеся пунктиры. Сидя на холодных ступенях в глубине лестничной клетки, Кудрявцев пытался разгадать теорему – о секторах обстрела, об отсутствии войск и о том, чья следующая смерть будет вброшена в треугольник.

Чиж водил карандашом в помятой школьной тетрадке. Срисовывал этот треугольник – двух убитых и одну отсеченную голову, и множество их соединявших следов, будто кто-то беспокойный все не унимался, все бегал, измерял расстояние шагами.

Из тумана, из-за железных заборов, из мокрых зимних садов снова заговорил мегафон. Настойчиво, звучно, словно выпускали в сторону дома жестяных полых птиц, и они, посвистывая, летели. Со скрежетом ударялись о дом, падали, как пустые консервные банки.

– Предлагаем не стрелять!.. Предлагаем забрать убитых!.. Мы выпускаем женщин!.. Не стреляйте!..

Кудрявцев приготовился к новому испытанию. Не к бою, а к мучительному искушению, в котором ему опять предлагалось выстоять, которое он должен преодолеть и отринуть.

Женщины появились небольшим табунком, все в черном. Двигались и при этом плавно вращались, словно чаинки в чашке. Их маленький хоровод окружал вооруженных мужчин, и все так же, похожий на кусок сыра, желтел мегафон, заслоняемый темными одеждами.

Здесь были молодые женщины в модных шубках, кожаных сапожках, в черных платках, под которыми виднелись смуглые красивые лица с тонкими носами и черными разведенными бровями. Была низкорослая тучная женщина в плохо застегнутом неопрятном пальто, в траурном платке, наполовину закрывавшем желтое, как печеное яблоко, лицо. Была совсем древняя, опиравшаяся на палку старуха, едва передвигавшая ноги, обутые в валенки и калоши. С обеих сторон ее поддерживали две девочки в ярких пальтишках, резвые и гибкие, как козочки. Но и они были накрыты черными платками. Среди них метались вооруженные чеченцы и Исмаил, лобастый, кудлатый, с мегафоном.

Кудрявцев подумал, что этот деятельный гривастый чеченец был предводителем небольшого отряда, контролирующего окрестные улочки. Именно на его участке располагался дом, в котором засел Кудрявцев. Чеченцы из других отрядов были отвлечены на иных направлениях, отведены от площади. Исмаил со своим малочисленным отрядом был не в силах уничтожить дом.

– Не стреляйте! – взывал мегафон из центра хоровода. – По женщинам не стреляйте!

Женщины, взявшись за руки, медленно приближались. Останавливались, поджидая отстающую, с трудом ковыляющую старуху. Снова шли.

Из глубины дома, сквозь амбразуру окна Кудрявцев видел это колготье, окружающее желтую дыню мегафона. И вдруг испытал ненависть, моментальную свирепую ярость, желание стрелять и бить.

Траурные чеченские женщины, потерявшие одного из своих – седоусого, разорванного гранатой «профессора», красивые чернобровые молодухи, жирная толстозадая баба, старая кривоногая карга, жалобные, в черных одеждах, только что присутствовали при казни комбрига. Смотрели из-за своих занавесок, как комбриг падал на снег, заваливался, получив под лопатку нож. Верткий чеченец надавливал коленом на его живую хрипящую грудь, ловко отсекал голову, просовывал лезвие в позвонки, хватал за волосы, выливал, как из горшка,

липкую дымную кровь. И бабы смотрели из-за пестрых занавесок, будто в саду резали барана. Точно так же, как полдня назад они взирали на убийство мордвина и взводного. Накрывали на стол, ставили тарелки, кувшины с вином, знали, что во тьме у жаровен спрятаны автоматы. И если Кудрявцев попадет к ним в плен, эти траурные жалобные бабы, не моргнув, будут смотреть восхищенными черными глазами, как из Кудрявцева, из его белого дрожащего тела вырежут мокрый красный лоскут.

Он испытал к ним такую ненависть – к их мужьям, братьям, женихам, к их миловидным чернявым детишкам, ко всему их чеченскому роду, – что палец его лег на крючок, мушка наложилась на черные рогатки, и он был готов резать их всех огнем, косить свинцом, превращая в клочки их траурные одежды, их серьги, их модные шубки и кожаные сапожки.

– Мочить их, нет, командир? – угадал его состояние Чиж. Прижал автомат к косяку, побледнел от нетерпения и злобы.

Женщины начали голосить. Это было похоже на песню, на отрывочные, размытые ветром звучания. Их голоса напоминали звук ветра в частоколе, состоящем из тонких дрожащих жердин, где каждая издавала свою тоскливую дребезжащую ноту. Эти взлетающие и падающие звуки соединялись с криками ворон в сером небе, возвращались на землю, где лежали убитые и стояла отсеченная голова комбрига. И казалось, это поют не женщины, а кто-то невидимый, реющий в облаках, оплакивающий их всех – и тех, кто погиб минувшей ночью среди разорванных танков и броневиков, и тех, кого застрелили утром на этом талом снегу, и тех, кто еще будет убит в продолжение мутного холодного дня.

Его ярость прошла, сменилась бессилием и непониманием. Он вспомнил, как хоронили отца. За гробом, где лежал длинноносый, с фиолетовыми веками отец, шла соседка Пелагея по прозвищу Пигалица. Причитала, откидывая назад свое остроклювое птичье лицо, захлебывалась воплем и криком, а потом с силой падала вниз, почти на гроб, издавая долгий незатихающий стон. И все, кто был вокруг, начинали тихо всхлипывать и постанывать.

Нечто похожее, не по звукам, а по тоске, по неотвратимости и всеведению, испытал Кудрявцев, слушая бабий чеченский вопль. Его рука вяло, словно от нее враз отключили всю силу и кровь, соскользнула с цевья автомата.

– Кудрявцев, выходи без оружия!.. – заскрежетал и засвистел мегафон. – Я тоже пойду без оружия!.. Берем своих и расходимся!.. Не стреляю, клянусь Аллахом!..

– Не ходите, товарищ капитан, убьют! – отговаривал Чиж, видя, как Кудрявцев ставит к стене автомат и направляется к выходу. – Обманут, товарищ капитан!

– Если что, прикрой, – сказал Кудрявцев. – Если меня убьют, мочи весь их народный хор.

Он пробрался через обломки шкафа в рваный лаз, проломленный гранатометом. Вышел на свет и почувствовал свою незащищенность, открытость. Будто упал с плеч каменный панцирь, растворился непробиваемый бронежилет, и он оказался уязвим, весь на виду, на серо-серебряной площади. Сделал несколько шагов, удаляясь от кирпичной стены, ступая в треугольник, где беззвучно и бестелесно трепетали и реяли души убитых, каждая у своей вершины. Видел, как Исмаил раздвинул табунок причитавших женщин, безоружный, осторожно щупая землю, тоже вошел в треугольник, словно под ногами у него был не асфальт, а тонкий лед, прикрывавший стремнину.

Кудрявцев медленно приближался к лежащему «профессору», обходя снег в катышках и клюквинах крови. Казалось, в головах «профессора» ударила по снегу крылом черно-красная птица, оставила след когтей и маховых перьев. Лицо «профессора» было содрано наполовину, усы с оторванной губой казались отклеенными, а мокрые брюки задрались почти до колен, и под ними жалко и беззащитно открылись стариковские синие подштанники.

Кудрявцев, войдя в треугольник, двинулся не к удаленной вершине, где холмиком возвышался Филя, а направился в сторону, к комбригу. И пока приближался, не спускал глаз с

головы. Голова туманно и слезно смотрела на него из-под воздетых бровей. Волосы торчали острыми замерзшими хохолками, а приоткрытый рот что-то пытался выразить, объяснить Кудрявцеву.

Кудрявцев подошел к голове. Стянул с себя бушлат. Накрыл голову. Она скрылась от страшного дневного света, успокоилась под непроницаемой жесткой материей.

Он двинулся дальше. Навстречу ему шел Исмаил, в длинном пальто, в шелковом шарфе, руки в карманы, волосы как у эстрадного певца.

Они сблизились. Остановились. Кудрявцев почувствовал бесшумный удар его ненависти, которая была столь сильна, что вызвала колебание и вибрацию воздуха, надавила ему на лоб и глаза. И ответом была ненависть, словно в груди у Кудрявцева зажегся черно-красный фонарь, рубиновый генератор ненависти, и лазерный луч жгуче черкнул бронзовый лоб Исмаила.

– Я тебя, суку, все равно достану! – негромко сказал Исмаил. – По кусочкам буду кожу снимать, слушать, как ты визжишь!

– Козел вонючий! – сказал Кудрявцев. – Я твои козлиные яйца отрежу и кину собакам! А они сблюют, жрать не станут!

Они стояли друг против друга, яростные, дрожащие, готовые броситься, схватиться. Бить, рвать, кусать, всаживать когти и зубы. Сразиться насмерть, как встарь, на глазах двух разделенных ратей, и чья возьмет, кто наступит ногой на бездыханную грудь соперника, тот и будет хозяином площади, завершит ночное сражение.

– Мы вас, свиней, расхерачим из танков! – сказал Исмаил. – Ваши долбаные танки запустим! Посадим туда ваших свиней-танкистов, и они же вас расхерачат! Вам час жизни остался! – Он задрал широкий рукав пальто, посмотрел на золотые часы. – Танк придет через час! Весь ваш дом расхерачим!

Они прошли, едва не коснувшись плечами. Стали удаляться, каждый к своей вершине.

Филя лежал на боку, выгнув тонкую спину, сунув руки между колен, словно хотел их согреть. Кудрявцев наклонился над ним, тронул ладонью лоб. Так щупают детей, желая узнать, есть ли у них жар. Лоб был едва теплый. Филя остывал, но остатки тепла еще хранились в его худом тонком теле.

Кудрявцев поднял его, удивляясь его легкости. Голова откинулась, и открылась тонкая, в темных жилках шея. Кудрявцев повернулся и понес Филю к дому, испытывая не боль, не сострадание, а странное изумление – это он, Кудрявцев, в свете зимнего дня, в первые часы нового года, несет на руках убитого.

Они поравнялись с Исмаилом, который нес на руках «профессора». Не задерживаясь, разошлись. У Кудрявцева не было ненависти, а все то же изумление.

Кудрявцев внес Филю в дом. Прошел по ступенькам мимо притихшего Чижа. Положил Филю на пол, на лестничной площадке. Подошедший Таракан нырнул в квартиру, вынес простыню, накрыл Филю, все его худое длинное тело с торчащим под простыней острым носом.

Кудрявцев выглянул в окно. С площади в мягкий туман медленно удалялись чеченцы. Несли своего убитого, обступили его тесной гурьбой. И когда они скрылись, все еще раздавались едва различимые женские вопли.

Они сидели все вместе в разгромленной стариковской квартире. Женщина по имени Анна кормила их хлебом, холодной картошкой, медом и смородинным морсом. Прислонившись к стене, молча смотрела, как жуют солдаты, как наливает Кудрявцев в стакан розоватую воду. Ее большое, белое, с легкими тенями лицо казалось печальным, словно она смотрела, как едят ее голодные дети.

– Этот патлатый сказал, что нас раздолбает танк. – Кудрявцев прислушивался к звукам на площади. Старался различить среди вороньих криков рокот танкового двигателя, звяка-

ющий хруст гусениц. – Он сказал, танк придет через час. Они посадят в него пленных танкистов, и те расстреляют дом.

– Неужто свои своих расстреляют? – спросил Крутой, танковый стрелок, обращая на Кудрявцева крестьянское, в веснушках лицо. – Неужто такие найдутся?

– Они и знать не будут, по ком стреляют. Просто дом! – объяснил Чиж, а сам посмотрел на оклеенные обоями стены, сквозь которые влетит фугасный снаряд. – Приставят к затылку ствол, и сделаешь, что прикажут!

– Комбриг не сделал, – сказал Таракан.

Было тихо. Поскрипывали вороны. Горбился на снегу положенный Кудрявцевым бушлат. На лестничной площадке под простыней лежал Филя. Женщина все так же печально смотрела.

– Есть мысля, – сказал Крутой, морща лоб, утыкая грязный палец в переносицу, где сходились его пушистые серые брови. – Есть мысля, товарищ капитан…

Снаружи послышался нарастающий свист, короткий толчок в стену, гулкий грохот. Мимо окна вяло пронесло копоть взрыва.

– В укрытие!.. На лестницу!.. – рявкнул Кудрявцев, выталкивая из-за стола солдат, пихая их в коридор. – На лестницу, говорю! – грубо крикнул на женщину, медлившую в дверях.

Еще один свист, и новый, толкнувший стену взрыв. Кудрявцев сбежал по ступеням к окну, выглянул из-за уступа. Из тумана приближалась, оставляла дымную трассу граната. Упала перед домом, превратилась в грязно-красный взрыв. Оставила на снегу рваную выбоину, а в воздухе, похожая на дымного вставшего человека, держалась копоть.

Невидимые гранатометчики засели в туманных кустах. Оттуда наугад обстреливали дом. Кудрявцев выставил из-за выступа половину лица, напряженный, дрожащий в глазнице глаз. Ждал выстрела, чтобы по траектории гранаты вычислить позицию стрелков.

Из тумана одновременно с хлопком полетела черная, окруженная копотью точка. Приблизилась, увеличилась, влетела в окно стариковской квартиры, ударила внутри тугим взрывом, наполняя лестницу хрустом и треском взрывной волной, прорвавшейся из-за распахнутой двери. В квартире продолжало хрустеть, осыпаться. Кудрявцев рассмотрел туманное сплетение ветвей, откуда прилетела граната, и наугад, описывая стволом малую окружность, выпустил длинную, в полмагазина, очередь, простреливая деревья, ближние дома и сады, наполняя их шальными пулями.

Спрятался, ожидая новой гранаты. Но больше не стреляли, а из стариковской квартиры валил дым, в ней хрустело и разгоралось.

Он кинулся наверх, вбежал. Граната рассадила окно, бухнула в буфет, взорвалась внутри, остановленная стеной. Расшвыряла ветхие полки буфета, перекололо посуду, корзиночки с ложками, кульки с мукой и крупой. Все это, разбросанное, хрустело и дымилось. Буфет горел, горели на стене обои, вяло тлела занавеска. Квартира, пристанище стариков, разгромленная, окутывалась блеклым огнем, едким дымом и тлением.

Кудрявцев схватил валявшуюся на полу подушку, стал бить ею по горящей стене. Колотил в пламя, охватившее остатки буфета. Сдирал и топтал занавеску, кашлял и задыхался.

К нему на помощь подоспела Анна. Сильными шагами перемещалась по комнате, носила из ванной кастрюлями воду, плескала на огонь. Скоро пожар угас. Дымились обугленные клочья обоев, обгорелые доски буфета.

Кудрявцев устало сел на стул, втягивая дым сгоревших старушечьих запасов. Кругом валялись разноцветные черепки и осколки, гнутые ложки и вилки. Все, что осталось от свадебных сервизов, от рюмочек и графинов, которые выставлялись гостям в дни праздников и поминок.

– Пойдемте, я вам полью, – тихо сказала женщина. – У вас лицо закоптилось.

Она поливала ему в ванной. Он плескал на лицо ледяную воду, видел ее близкие белые руки. И ему вдруг захотелось прижаться губами к ее близкому запястью.

– Откуда ты взялась? – спросил он, поднимая мокрое лицо.

– Я здесь живу, – повторила она.

«Где войска?» – думал Кудрявцев, уже зная, что сегодня войска не придут. В наступающих ранних сумерках не сверкнет пикирующий штурмовик. Не загрохочет, не заблещет вал артиллерии, предвестник штурма.

Они сидели на лестнице, на холодных ступенях, поставив у ног автоматы. Сзади длинно и бело лежал Филя. Кудрявцев, оставивший теплый бушлат на площади, напялил на себя тесный стариковский свитер, не сходящуюся на груди куртку и ждал приближения танка. Вывернет на площадь из-за скопления разбитой техники, и тогда – бежать к окну, упирать в косяк гранатомет, выцеливая сопряжение башни, и выстрелами двух гранат успеть поджечь его бронированный короб, пока пушка танка не плюнула в дом черной тушей снаряда.

– Есть мысля, – повторил Крутой, словно недавний их разговор был прерван не разрывом гранат, а чиркнувшей спичкой, от которой закурили сигарету. – Пойду к своему танку. – Крутой кивнул на окно, где в сумерках чернели на снегу железные ребра и берцовые кости сгоревших машин. – Бронебойный снаряд в стволе! Если суки подгонят танк, вручную разверну башню, влуплю в упор!

– Брось, – вяло отозвался Кудрявцев. – Один уже лежит под простынкой. Тебя подстрелят, как Филю, после первых десяти шагов.

– Хрен подстрелят! – не соглашался Крутой. – Начинает темнеть. Если что, вы меня прикроете. Я наряжусь под бабу, в юбку, в платок, какой-нибудь куль прихвачу! Они подумают, что нищенка или мародер, не станут палить!

– Ерунда! – отмахнулся Кудрявцев, раздражаясь этой наивной настойчивостью, напоминавшей детские игры в прятки и переодевания. Шалость, застрявшая в деревенской голове Крутого, неуместная в минуту опасности.

– Почему ерунда! – Таракан поддержал Крутого. – Вон у бабки сколько тряпья! Оденем его старушкой, высадим окно на первом этаже, где кустики. И пусть себе семенит, котомочку тащит!

Кудрявцев посмотрел на лица солдат, на которых сквозь усталость и копоть, темные тени бессонницы заиграло веселое мальчишеское выражение. Он вдруг почувствовал себя старым, усохшим, не способным на азартный поступок. Молодые солдаты иначе представляли опасность, иначе чувствовали риск. Их молодая кровь побуждала к рискованным выдумкам, даже если в этих выдумках таилась смертельная угроза.

– Попробуем, товарищ капитан! – настаивал Крутой. – Заодно и фотку принесу, где сестренка на лошади. Жаль, если пропадет!

– Пусть попробует, – поддержал Ноздря. – Бог поможет.

Эти трое, Чиж, Таракан и Ноздря, посылали четвертого на смертельное дело. Но не сознавали размера опасности. Завидовали ему, получившему возможность прервать унылое сидение в доме, порезвиться, совершить молодецкий поступок. Будто не было страшной ночи, расстрела бригады, убийства Фили. Так молоды они были, легкомысленны и забывчивы. Кудрявцев, в сравнении с ними, был опасливый, осторожный старик.

– Не знаю, – колебался он. – Попробуй, нарядись старушонкой, я посмотрю…

Солдаты повеселели. Веселая торопливость, с какой они загрохотали по лестнице, огибая лежащего Филю, причинила Кудрявцеву боль. Он прошел следом в квартиру. Анна, возникавшая каждый раз бесшумно и неожиданно, словно выходила из стены, проследовала за Кудрявцевым в комнату.

Солдаты рылись в стариковском барахле. Перетряхивали старые платья, пальтушки, юбки. Выхватили и отбросили красную линялую скатерть, какие-то потертые, битые молью меха.

– На-ка, Крутой, примерь! – Чиж кинул ему шерстяную юбку, и тот, сбросив бушлат, стал натягивать через голову юбку, просовывал плечи и грудь. Юбка трещала, просаживалась, застревала на бедрах.

– А ну, Крутой, напрягись!

Крутой справился с юбкой. Натягивал какие-то блузки и кофты. Влезал в пальтушку. Заматывал на голове платок. Не стесняясь Анны, стягивал из-под юбки штаны, влезал в старушечьи рейтузы.

Таракан хохотал, всовывая в руку Крутого деревянную клюшку. Выкатил с кухни замызганную магазинную сумку на двух колесиках.

– Давай, бабуля, ступай в магазин! Хлебушка хочется!

– Ах вы такие-сякие! – изображал сердитую старуху Крутой. – Сейчас клюшкой как садану!

Он был похож на высокую костистую тетку в своей юбке, сморщенных драных рейтузах, в повязанном низко платке, из-под которого выглядывали веселые глаза.

– Сейчас как залуплю в лоб палкой!

Чиж, Таракан и Ноздря щипали, тормошили его, дергали за юбку, а тот крутился, хрустел на разбитых черепках, раза два огрел Таракана палкой.

Анна молча стояла в дверях и печально смотрела. А Кудрявцев давал им наиграться. Ждал, когда поустанут, и тогда он строго прикажет прекратить дурацкий маскарад, отошлет солдат на позиции.

Он услышал отдаленный, едва уловимый рокот, слабое сквозь этот рокот повизгивание. Так сотрясает воздух тяжелыми толчками и выхлопами танковый двигатель. Так гусеничные траки, переваливаясь через передние катки, слабо повизгивают. Звук пропал и вновь повторился, заносимый ветром сквозь разбитое окно. Кудрявцев вслушивался, как блуждает звук за домами, за обломками и остовами машин. Удаляется, совсем исчезает. И вновь отрывается ветром от невидимого танка, вносится в комнату.

– Чиж, гранатомет!.. – крикнул Кудрявцев. – Все на первый этаж!.. Лежать у стен!..

– Товарищ капитан, пойду долбану его! – Крутой смотрел на Кудрявцева из-под бабьего платка упрямо и требовательно. – Наколю его бронебойным!

Кудрявцев представлял, как на площади в сером сумраке появляется танк. Сначала мелькает башня среди горбов и обломков бригады. Потом выкатывает на открытое место, скользит на гусеницах, разворачиваясь на месте. Наводит тяжелую пушку на дом. Минута тишины. Красная плазма взрыва. Страшный удар о стену проламывает фасад, влетает внутрь дома, разносит перекрытия, рушит балки, ломает лестницы и ступени. И это предощущение взрыва было как ломота в костях, словно они превращены в острые осколки, болят в местах будущих переломов.

– Долбани его бронебойным, – глухо сказал Кудрявцев. – Вы! – обратился он к солдатам. – Взломайте дверь на первом этаже! Выпускайте его из окна!

Крутой, опираясь на клюку, вышел. За ним Таракан, подхватив на локоть сумку с колесиками. Следом Анна, молчаливая, с белым печальным лицом. И Ноздря, подобрав с полу какую-то ненужную ветошь. А Кудрявцев остался, вслушиваясь в звуки площади, глядя на красную, брошенную на пол скатерть.

Танк рокоча ходил в отдалении, будто плутал. Искал выход на площадь из лабиринта улочек, палисадников, узких проходов и железных завалов.

Чиж принес трубу гранатомета с зарядом. Отступив от окна, Кудрявцев положил на плечо трубу, прицеливался, переводил прицел с сумеречных туманных деревьев на обгорелые машины, на бесформенные бугры подбитых грузовиков.

– Пошел Крутой! – тихо охнул Чиж, выглядывая на площадь. На серой меркнущей площади появилась старушечья фигура, в платке, с клюкой, с горбатой спиной. Тащила утлую колясочку, прихрамывала, останавливалась, отдыхала. Кудрявцев испуганно ждал, что наискось через площадь ударят автоматы, окружат старуху летучим пунктиром и она замечется, побежит обратно, бросив клюку и коляску.

Но выстрелов не было. Старуха обогнула грузовик, засеменила к темным обломкам, тыкая клюкой, наклоняясь к земле тяжелой замотанной головой.

– Молись, чтоб добрался, – сказал Кудрявцев Ноздре, а сам шарил гранатометом по мглистым деревьям, готовый по первой вспышке ударить длинной стрелой.

– Молюсь, – ответил Ноздря, шевеля губами. Должно быть, он призывал на помощь ангела из деревенской церкви с красными, опущенными до земли крылами.

Кудрявцев корил себя, изумлялся легкости, с какой согласился на эту шутовскую затею, послал солдата почти на верную гибель. И одновременно верил в успех, торопил его своей суеверной мыслью. Знал, что Крутой обманет чеченцев, доберется до своего уцелевшего танка, затерянного среди взорванных коробов.

– Дошел! – облегченно вздохнул Ноздря, глядя, как старуха потопталась у крайних машин, проворно нырнула в их скопище, исчезла среди наклоненных башен, поникших пушек, ребристых бортов.

Звук танковых выхлопов приблизился. Стали отчетливо различимы хруст и позвякивание гусениц. Кудрявцев поддерживал на плече гранатомет, высматривал невидимый танк.

Он не молился о солдате, ибо не знал ни единой молитвы. Потеряв его из виду, чувствовал, высвечивал его незримым радаром. Из груди, из сердца излетали бесшумные вспышки и импульсы, отыскивали солдата среди обломков, создавали между ним и Кудрявцевым непрерывную живую связь.

Особым, открывшимся в нем ясновидением Кудрявцев наблюдал за солдатом. Вот прижался к окисленной корме бээмпэ, глядя на расстрелянную пулеметную ленту. Короткой перебежкой, сматывая с головы мешавший платок, обогнул грузовик с лужей разлитого топлива. Нырнул под поникшую пушку, перескакивая тлеющий, оторванный взрывом каток. Среди изувеченных, сгоревших машин вдруг увидел свой танк, уцелевший, заглохший, с повернутой в сторону башней.

Это ясновидение открылось, как неожиданный дар, будто в него вселилось другое существо и смотрит сквозь его глаза зажженными фарами, посылает длинные, проникающие сквозь преграды лучи.

Он видел: Крутой, хватаясь за скобы, влезает на броню. Привычно, ловко погружается в люк. Пробирается сквозь тесное чрево танка среди засаленных одеял, брошенных котелков и банок. Усаживается на кресло наводчика и вручную, преодолевая инерцию и тяжесть редуктора, вращает многотонную башню. Над оптикой прицела, у казенника, где заложен бронебойный снаряд, приклеена к броне фотография – деревенская лошадь на травяной меже и на ней тонконогая девочка.

В сумерках над контурами недвижных обломков что-то сместилось и сдвинулось. Воя и хлопая двигателем, выкатил танк, крутя колесами, тускло высвечивая траками. Выбросил улетающую копоть и скрылся за черными нагромождениями.

Ясновидящий взгляд Кудрявцева меркнул, словно глаза застилала копоть. Последнее, что он успел разглядеть, – нутро возникшего танка, двое раненых, перевязанных бинтами танкистов и чеченцы, воткнувшие им в спину стволы.

Кудрявцев направлял в окно трубу гранатомета, ожидая возвращения танка. На открытое пространство высыпали стрелки, подвижные, быстрые, с заостренными гранатометами. Они были в черном, похожи на чертей, разбегались и снова сбегались. Рыскали, высматривали, обеспечивали безопасность танка.

Кудрявцеву померещилось, что он слышит завывание музыки, под которую скачут эти черные человекоподобные существа. Но это был вой танкового двигателя. Машина вышла из-за обломков, развернулась бортом, подставила под выстрел катки, бортовую броню и башню.

Но Кудрявцев промедлил, не выстрелил. Танк, скользнув гусеницей, повернулся вокруг оси, лобовой броней к дому, направив толстую пушку. Гранатометчики разбежались, не желая попасть под ударную волну выстрела.

Кудрявцев прицелился, чувствуя, как пушка прямой наводкой уставилась ему в грудь, дышащими ребрами ощущал тупое давление, но медлил, не стрелял. В последней тоске и надежде хотел угадать: Крутой не нашел свой танк? Или в застывшей громаде не сумел провернуть вручную редуктор, сдвинуть башню с орудием? Или цель заслонилась обломком железного кузова, недоступная для прямого выстрела?

Его палец начинал давить на крючок, чувствуя упругое сопротивление пружины. Опережая его на секунду, из черной свалки обломков полыхнула вспышка, грохнул выстрел, словно воскресла на мгновение убитая пушка. Бронебойный снаряд в упор ударил в бортовую броню, вонзил под башню искрящее долото. Вырвал внутри глыбу брони, превратив ее в тысячи разящих иголок, истребляя экипаж, подрывая боекомплект. Танк подскочил от удара, выбросил фонтан огня, ядовитый слепящий салют. Летели густые колючие искры, зеленоватые бенгальские звезды. Танк был похож на плавильную печь, в которой отворили заслонку, выпустили плавку.

– Крутой, мать твою, молодец! – крикнул Таракан, вскидывая вверх кулаки, как футболист, засадивший мяч. – Под дых ему, педерасту!

Танк горел, окруженный заревом. Гранатометчики, разбросанные взрывом, падали на колено, стреляли все в одну сторону, пускали в черные обломки светящиеся головешки гранат. Нащупали среди мусора живую машину. В сумерках ахнул взрыв, вознесся второй фонтан бело-зеленого света, полилась расплавленная ртутная плазма.

Два зарева колыхались над площадью. Две подбитые машины испускали металлический дух.

– Крутой ушел, ей-богу, ушел! – Ноздря вытягивал шею, прислушивался, словно хотел различить среди взрывов и выстрелов легкую поступь убегавшего бронебойщика.

Стемнело, а они все еще ждали возвращения Крутого. Проходили часы, а Кудрявцев все вглядывался в сумрачную площадь, не мелькнет ли быстрая, бегущая к дому тень. Было пусто, мрачно. Мелко шел снег. На площади, в двух местах, среди черных руин, едва заметно светилось. Словно всходили две зимние тусклые луны, затуманенные ветром и снегом.

Таракан нашел на кухне палку. Укрепил на ней красную скатерть. Выставил в разбитое окно. Ветер подхватил тяжелую ткань, колыхнул ее вдоль фасада. Флаг казался черным, хлюпал, волновался в ночи.

Глава пятнадцатая

Весь день Бернер проспал на уютном диване в своем домашнем кабинете под пушистым австралийским пледом. Проснулся под вечер, когда высокие заледенелые окна были темно-синие, узорные листья инея слабо переливались, словно в куски голубого льда были вморожены чертополохи. С дивана из-под темного пледа он с наслаждением смотрел на эти недвижные хрупкие заросли.

На стене висели иконы, коллекция, которую он собирал у антикваров, делал заказы в далеких городах Сибири и Русского Севера. По стенам были развешаны святые, апостолы и пророки, а прямо над ним на толстой, изъеденной и почернелой доске святой Николай, белобородый, лобастый, прижимал к груди священную книгу, крестил Бернера длинными, похожими на цветочные лепестки перстами.

Было тихо, только внизу сквозь анфиладу комнат слышался голос жены, говорившей по телефону. Марина смеялась, ее теплый домашний смех, старинная позолота икон, мягкость пушистого пледа и колючие ледяные узоры на окнах вызывали у Бернера сладостное чувство покоя, благополучия и надежной безопасности, в которых он пребывал в первые часы нового года. Краткая, на один день, передышка, после которой он снова ринется в опасные, увлекательные авантюры.

Он принял ванну. С наслаждением погрузился в ее мраморный теплый объем, чувствуя бедрами и спиной мягкие овалы, глядя, как из блестящего крана падает с бархатным гулом вода. Розовая, пахнущая ягодами пена плавала вокруг его плеч и груди, словно сбитые сливки.

Он вытерся насухо махровым полотенцем, обдул себя шелестящим феном. Стоя перед огромным зеркалом, орудуя гребнем, создавал себе косой пробор, поворачиваясь то в профиль, то в фас. Придавал лицу то грозное неприступное выражение, то милое, обольстительное.

Бодрый, посвежевший, он обошел стороной гостиную, где разговаривала Марина, не желая ее отвлекать. Накинул легкий полушубок, нахлобучил косматую волчью шапку и вышел на крыльцо.

Было морозно, чудесно. Кругом был снег, нетоптаный, девственный, с мягкими купами, под которыми укрылись кусты роз, цветочные вазоны. В синем воздухе нарядно и празднично горели окна служебных помещений, зеленела, как влажный фонарь, оранжерея. Вдалеке, у высокого забора, заиндевелые и тяжелые, стояли ели, и их лесная тишина и недвижность, и драгоценный блеск окон доставляли Бернеру наслаждение. Это были его ели, его зимняя оранжерея, его гараж с великолепными автомобилями, его сугробы и синеватые протоптанные дорожки, и его огромный с полукруглыми окнами дворец, видный далеко с шоссе, как инопланетный, опустившийся в подмосковные леса корабль.

Снег на тропинке аппетитно поскрипывал. Бернер, наступая мягкими, удобными сапожками, пошел в глубину участка к забору, где по натянутой жиле, скользя кольцом, бегали огромные косматые псы. По вершине забора, едва заметная, была натянута проволока, белели аккуратные фарфоровые изоляторы. Из соседнего леса на участок могли перелетать только синицы и дятлы. Укрытая электронная система и высоковольтный ток надежно отделяли территорию от всего остального сумрачного и недружелюбного мира.

Кавказская овчарка, кудлатая, с катышками снега и льда, тяжело и радостно кинулась на грудь Бернера. Обдала его паром, псиным духом, сиплым свистящим дыханием. Он боролся с ней, таскал за жирный загривок, хватал за мокрый горячий язык, подсовывал кулак белым, торчащим из десен клыкам. Они барахтались в снегу, перемещаясь вдоль забора. Кольцо, скользя по металлической жиле, шуршало, звенело, и казалось, с провода, с соба-

чьего загривка сыплются синеватые искры. Посреди участка, где летом была разбита огромная многоцветная клумба, сейчас толпилось несколько людей из охраны. Помогали пиротехнику готовить фейерверк, которым Бернер хотел порадовать ожидаемых к ужину гостей.

– Как салют? – бодро спросил он, проходя мимо.

– Как на Красной площади! Еще лучше! – радостно отозвался пиротехник, устанавливая на штативе длинные шутихи, ракеты и петарды.

Бернер нырнул в тесный теплый бункер, скинул полушубок и шапку. Сквозь утепленную дверь вошел в зимний сад. Здесь было влажно, душно, как в тропиках. Пахло сладковатым тлением, чуть слышными ароматами цветов. С потолка свисали каплевидные ртутные лампы, и под ними прозрачно и нежно зеленели тропические растения – пернатые пальмы, курчавые мохнатые араукарии, глянцевитые рододендроны, розово-фиолетовые орхидеи. По веткам перелетали крохотные верещащие птички, вспыхивали изумрудными грудками, перламутровыми и бирюзовыми головками.

Посреди оранжереи был устроен выложенный камнем бассейн. В нем плавали огромные, похожие на зеленые тазы листья виктории. Среди этих зеленых островов поднимался на сочном стебле цветок, развернув белоснежные, словно вырезанные из сливочного масла, лепестки с золотой сердцевиной. В темной глубине среди корней и подводных стеблей мелькали, как огоньки, разноцветные рыбки.

Это был «Рай», как называл его Бернер. Место, куда он любил приходить в редкие минуты покоя, чтобы восстановить утомленный дух, обессилевший разум, собрать воедино разорванный, разбегающийся мир.

Он устроился на маленькой скамеечке под пальмой так, чтобы белая розетка цветка отражалась в темном зеркале водоема. Постарался сосредоточиться на чистом созерцании нежных лепестков, дышащих тычинок, сочного пестика, похожего на крохотную золоченую статую Будды.

В этом созерцании он отбрасывал все конкретные, тревожащие его мысли и переживания.

Запретил себе думать о положении на фондовом рынке и предстоящей эмиссии на одном из принадлежащих ему крупных заводов.

Запрещал думать об утреннем свидании с министром и о возможном разрушении Грозного в результате авиационных налетов.

Запрещал думать о друге Вершацком, чья судьба была предрешена и чья жизнь истекала с каждой минутой.

Отметал мысли о новом политическом проекте, касавшемся множества депутатов, журналистов, аналитиков, звезд эстрады, цель которого – срезать и нейтрализовать неугодные группы влияния, окружавшие президента.

Он прогнал случайное воспоминание о том, как в молодости они с Вершацким подхватили на набережной молодую легкомысленную женщину и провели с ней ночь в мастерской художника. И второе неприятное воспоминание, как в детстве в их грязном московском дворе его окружила группа соседских хулиганов, дразнила, издевалась, а потом больно избила.

Все это он отметал, как отметают опавшие листья, как сдвигают сочный выпавший снег, убирают с женского лица густые волосы. Постепенно тревожащие мысли отлетели, и в центре его успокоенного сознания оставался один только белый цветок с золотой сердцевиной. Он сам становился цветком, был окружен белоснежными лепестками. Являл собой крохотного золотого Будду, помещенного в центре Вселенной.

Это созерцание длилось недолго, он вернулся в реальный мир посвежевший, облагороженный и торжественный.

В прихожей он стряхнул с сапожков чистый, быстро тающий снег. Марина сидела с ногами на удобной тахте, свесив маленькую, шитую золотом тапку. Все еще говорила по телефону, раздавала и принимала поздравления. Ее домашнее свободное платье скрадывало полноту. Шея с ниткой кораллов была обнажена, и Бернер на ходу обнял ее, поцеловал в теплые волосы. Испытал не влечение, а нежность к ее большому красивому телу, в котором наливался и созревал плод, их ребенок. «Маленький Бернер», – умилительно и смешно подумал он, обнимая жену.

– Скажи, пусть накрывают на стол. – Марина прикрыла трубку ладонью, слегка уклоняясь от поцелуя.

И уже в просторную, в два этажа, столовую, белую, ослепительную, с огромной хрустальной люстрой, вносили посуду. Расставляли по скатерти тарелки, серебро, бутылки, фарфоровые блюда с холодными закусками.

Снаружи послышались автомобильные сигналы. Тяжелые ворота отворились, и, сверкнув бриллиантовыми фарами, озаряя снег длинными лучами, въехали один за другим три лимузина. Охрана под лай собак помогала водителям удобнее расставить машины, вписать их в заснеженные клумбы, вазоны и статуи.

Гости входили под белые своды, щурились от блеска люстры. Косились на накрытый стол, обнимались с хозяевами, награждали друг друга комплиментами и поздравлениями.

Это были близкие Бернеру люди, друзья дома, отношения с которыми оставались незамутненными долгие годы. Были скреплены общими интересами, общим мировоззрением и общими врагами.

Кошаров был одним из советников президента, высокий, нескладный, с крупной костистой головой добродушного губастого лошака, поросшей неопрятной ржавой бородой. «У него лицо – гибрид метлы и лопаты!» – как-то зло пошутила Марина, раздраженная манерой Кошарова быстро и жадно есть.

Вместе с ним явился Голошенко, управляющий телекомпанией, подконтрольной Бернеру. Маленький, изящный, с точеными ручками, белым фарфоровым лицом, на которое посажены синие, как фиалки, девичьи глаза. Он душился дамскими духами, делал маникюр и иногда пел под фортепьяно соловьиным голосом, близким к колоратурному сопрано. Как-то Марина не сдержалась и, желая его обидеть, сказала: «Вам бы очень пошло декольте!» Но Голошенко не обиделся, а только залился жемчужным смехом.

Третьим гостем был известный кинорежиссер Тамбовкин, оплывший темным, как парафин, болезненным жиром. Животастый, грудастый, пахнущий постоянно чем-то едким, напоминающим муравьиный спирт или уксус. Когда он поднимался со стула и уходил, то казалось, после него всегда остается влажное, быстро высыхающее пятно.

– По-моему, если его оставить спать на диване, то к утру он обрастет опятами, – съязвила Марина, опасливо принюхиваясь к месту, где только что сидел Тамбовкин.

С ними явились их жены, в домашних неброских туалетах, с ограниченным набором драгоценностей и не слишком ухоженными прическами.

Потоптались, погоготали. Дружно уселись за стол. Быстро, с аппетитом откушали. Слегка опьянели. Обменивались незлыми шутками, неопасными новогодними сплетнями.

После ужина женщины удалились в гостиную, затеяли бойкие оживленные разговоры о беременности хозяйки, о новом дизайне гостиной, о замечательном новом препарате, не допускающем помутнения воды в бассейне, о картинной галерее, где выставляются самые модные художники, о курортах в Арабских Эмиратах и о том, какое платье было на старшей дочери президента, которая почему-то очень подурнела за последние месяцы.

Мужчины поднялись в кабинет и расселись в глубокие удобные кресла. Отдыхали после обильного ужина.

– Пусть я повторяюсь, друзья, но, честное слово, наша русская интеллигенция – лучшая в мире! – Голошенко погрузился в глубину кресла, похожий на уютную домашнюю кошечку, и сиял оттуда своими фиалковыми глазами. – Вы знаете, мы любим встречать Новый год в богемной компании. Ну, там всякие эстрадные звезды, юмористы, модные писатели и артисты. И на этот раз был с нами божественный Ростропович со своей небожительницей. Ну, конечно, как водится в этой компании, всякие хохмы, капустник, легкие безобразия, двусмысленные анекдоты. И Ростропович вместе с нами дурачится, забавляется, как студент! И вдруг – несут виолончель! Ее несут торжественно, как икону, в свете прожекторов, и она сияет, словно усыпана самоцветами! Ростропович берет инструмент, падает на одно колено перед женой и исполняет на одном дыхании «Маленькую серенаду» Моцарта. В этом было что-то средневековое, рыцарское, шекспировское! И мы все понимаем, что среди нас – гений! Мы все присутствуем при волшебстве! – Голошенко сделал жест маленькой хрупкой ручкой, повторяя движение смычка, пытаясь донести до друзей пережитое им вдохновение.

– Ну а мы, чиновники, по-простому справляли! – сыто хохотнул Кошаров, запустив большущие пальцы в клочковатую, мшистую бороду. – Выпили, закусили. Фильмец посмотрели, а потом устроили карнавал! Я нарядился во Льва Толстого, босиком, в портках. Ходил меж столов, проповедовал непротивление злу. Говорят, получилось! Но лучше всех был министр финансов. Нарядился в бомжа, в какие-то лохмотья, обноски. Ходил с шапкой, собирал подаяние! Насобирал, шельмец, миллиона три!

Кошаров захохотал, обнажая крупные лошадиные зубы, которыми, казалось, мог перегрызть толстую проволоку.

– Ну уж коли вы рассказали, и я расскажу! – Режиссер Тамбовкин втянул голову в плечи, и вокруг головы образовался двойной воротник жира. – Вы, конечно, знаете – наш администратор киноклуба довольно высокомерный и смешной господин. Почему-то возомнил себя лидером демократической интеллигенции. И в этом качестве совершает массу глупостей и пошлостей. Один наш актер, пересмешник, блестяще копирует голос президента. Сразу после двенадцати подзывают администратора к телефону, он снимает трубку и слышит, как президент поздравляет его персонально с Новым годом. Благодарит за вклад в дело реформ, сообщает, что представляет его к ордену «За заслуги перед Отечеством» и направляет в Ватикан в составе делегации духовенства, возглавляемой митрополитом Кириллом. Администратор, бедный, ошалел! Возвращается в зал и всем возвещает о звонке президента! Следом с опозданием на минуту возвращается шутник и все тем же голосом президента добавляет: «К тому же, Соломон Яковлевич, вам надлежит передать папе римскому мое личное послание!» Несчастный Соломон понимает, что его разыграли. И начинает плакать, как обманутый ребенок! И к концу праздника напивается в стельку!

Тамбовкин хрипло смеялся, кашлял. Голова его мягко колыхалась на подушке из жира.

– А теперь я вам вот что скажу, друзья! – Бернер торжественно, властной взволнованной интонацией изменил ход разговора, поворачивая легкомысленную беседу в иное, заранее приготовленное русло. – Вы знаете, что в Грозном идут бои. Как бы это ни называлось, но это война. Неизвестно, сколько она продлится и сколько она будет стоить. Но как всякая война, она стремится достичь сразу множества целей, некоторые из которых могут прямо противоречить друг другу. Мы не станем обсуждать все цели, которые могут быть нами достигнуты. Обсудим наиважнейшую.

Он знал за собой способность облекать смутные, еще неясные замыслы в убедительные формы и образы. Во время самого высказывания и формулирования неопределенные мысли, почти предчувствия, помимо его воли выстраивались в логическую цепь, обретали отточенность проекта, который он предлагал другим, вовлекал их в свою игру.

– В прошлый раз мы констатировали, что угрозы нашему благополучию сместились. А точнее – поменялись местами. Слава богу, нас миновала угроза красно-коричневых. После

того как по их садовым головам долбанули из танков, пропустили сквозь фильтры Лефортова, а других просто-напросто купили за понюшку, они в своей думе больше не являются угрозой для нас. А лишь красным тряпичным пугалом. Этой коммунофашистской куклой мы будем пользоваться на любых, в том числе президентских, выборах.

С ним соглашались, ему кивали. Он был благодарен им, узкому кругу друзей, проверенных кровавой осенью девяносто третьего года, когда им всем грозил фонарь и погром. Но они мужественно, не дрогнув, противопоставили коммунистическому бунту мощь своих финансов, телеканалов, организационных усилий, позволивших свести на нет красный реванш, разрушительный порыв черни. Затолкали ее обратно в норы, в вонючие подворотни, в обшарпанные коммуналки, в гробы, в тюремные камеры.

– Угроза новой «коричневой опасности» исходит теперь от силовиков, от генералов и губернаторов, от «Русской партии» в окружении президента, которая нарушила договор, сломала паритет и вынашивает планы «фашистского путча», направленного против нас с вами. Нашего бизнеса, нашего мировоззрения, нашей культуры. Если эта война, которую они развязали, кончится быстрой победой, то «Русская партия», или «партия войны», как следует ее называть, на волне шовинизма возвысится и срежет нас. Диктатура, которую они замышляют, будет чисто фашистской. Если мы ответственные политики, то не должны позволить им выиграть. Их быстрая победа в войне – наш полный крах и крушение! Их поражение – наш стремительный выигрыш! Мы их срежем и вышвырнем из политики!

Он говорил и успевал удивляться, как разрозненные мысли обретали филигранную форму. Ложились в образы, словно подарочная сабля в драгоценные ножны. Или скрипка в сафьяновый футляр. Или перламутровая ручка «Паркер» в пенал из красного дерева. Он вспомнил утреннюю встречу с министром, его маленький потный лоб, пьяные хитрые глазки. Ненавидел его, а вместе с ним всю их «мужицкую партию», бескультурную, наглую и жестокую.

– Нам следует уже сегодня, сейчас разработать основы плана и завтра же приступить к его реализации. Силовики, люди в окружении президента, ответственные за военную политику, должны быть демонизированы. Представлены обществу как аморальные идиоты. Сами войска должны быть лишены общественной поддержки и представлены, в лучшем случае, как несчастные, брошенные на убой юнцы, а в худшем – как палачи и каратели. Каждый раненый и покалеченный, каждый гроб должен быть показан народу крупным планом. Мы дадим деньги матерям, чьи дети пошли на войну, повезем их в войска, на передовую, в госпитали и морги и станем снимать их слезы. Мы должны мобилизовать близких к нам депутатов и мобилизовать на постоянные антивоенные выступления в думе. Мы должны особо уповать на благородного представителя президента по правам человека, который в эти минуты находится в Грозном. Его голос должен быть услышан в мире, и мировое сообщество должно надавить на нашего президента. Мы должны поддерживать чеченцев, показывая их как героических борцов за независимость. Все это, вместе взятое, вымажет «Русскую партию» кровью, вымажет кровью президента, и он, проиграв войну, в ужасе оттолкнется от тех людей, кто ее затеял. Он их сбросит и обратится к нам. Мы отмоем его от крови, почистим его окровавленный ястребиный лик и вернем народу белым, как голубь.

Бернер изумлялся собственному красноречию. Чувствовал, что его голосом, жестами, дыханием, мимикой управляет какое-то иное, нежели он сам, существо. Бодрое, энергичное, всеведущее. Вселилось в него, натянуло на себя его плоть, прикрывается его именем и обликом. Действует уверенно, быстро, точно.

Гости, зараженные его энергией, привыкшие видеть в нем лидера, мастера оригинальных победных проектов, вторили ему, импровизировали. Предлагали каждый свою комбинацию. С телепрограммами, с приглашением видных деятелей культуры, с телемарафонами,

с тонкими интригами, охватывающими администрацию президента, журналистов, дипкорпус.

У них сложился план. Довольные собой, они нахваливали хозяина. Поднялись с кресел и вернулись в столовую, где их поджидали кофе и мороженое.

– Ну что ж, друзья. – Бернер поднялся, держа маленькую рюмочку с коньяком. – Новый год наступил, и пусть каждому он принесет желаемое! У нас с Мариной, бог даст, будет прибавление. – Он обнял жену, и та по-кошачьи нежно прижалась к нему. – И чтобы мы запомнили нашу встречу, чтобы год был у нас ослепительный, хочу вам сделать подарок, новогодний салют, небесный букет цветов!

Гости надели шубы, шапки, высыпали на крыльцо, припудренное морозом.

По взмаху Бернера в небо полетели ракеты. Срывались с лафета молниеносными змеями, уносили в темно-синюю высь огненную шипящую точку. Взрывались с трескучим хлопком. Раскрывали в небе сияющие шатры, подвешивали драгоценные люстры, разбрасывали разноцветные букеты. В высоте крутились огненные карусели, изливались жидкие плазменные водопады, возникали созвездия, бриллиантовые мерцающие туманности и снова спирали, змеи, небесные светильники и сверкающие люстры.

Вершины леса озарялись как днем. Снег нестерпимо слепил. Лаяли и носились собаки. Ахали гости. Салют над дворцом видели далеко на шоссе, и водители гасили бег лимузинов, чтобы насладиться великолепным зрелищем.

Бернер по-детски радовался этому празднеству, пылающим вертушкам, огненным водометам. Любовался цветами, которые волшебный садовник рассадил прямо в морозных небесах. Молил бессловесно, чтобы сбылись его замыслы и упования. Чтобы у них с Мариной родился сын. Чтобы грозненский нефтекомбинат перешел ему в собственность. И чтобы, пожелал он вдруг страстно и истово, Вершацкий был убит.

Салют источил свою огненную стихию и погас. Только в небе, где недавно сверкало огромное ночное солнце, еще качалась, не хотела померкнуть крохотная золотая искра.

Гости прощались, лепетали, обменивались поцелуями. Рассаживались в лимузины, разворачивались в снегах, светили длинными алмазными лучами. Покидали усадьбу.

Марина оставила его на крыльце, ушла в дом, утомленная и довольная, и теперь, должно быть, поднялась в спальню, отделанную нежно-голубыми шелками, села перед трюмо. Разглядывала себя, снимала браслеты и кольца, медленно раздевалась. А Бернер, охваченный внезапной печалью, смотрел на черный лес, на мглистое небо, в котором минуту назад кипели и полыхали огни. Они выжгли в небе огромное костровище, которое теперь остывало, затягивалось туманом и мглой.

По-звериному чутко уловив тревогу хозяина, неслышно подошел начальник безопасности Ахмет. Стоял рядом среди рассыпчатого снега. Бернер смотрел, как лежит на сугробах золотой полукруглый отпечаток окна.

– Когда? – спросил он, и красивая, с гордым носом и лбом голова Вершацкого прокатилась и канула среди золотого, с голубыми тенями снега.

– Завтра, – ответил Ахмет.

Бернер услышал, как продавленный этим кратким словом скрипнул снег под его подошвой.

– Где? – Далеко у забора прозвенело и прошуршало кольцо. Цепная собака издали вслушивалась в разговор людей.

– На улице Вавилова. Он подъедет туда в шестнадцать часов. Там живет его любовница. Она недавно родила. Он ездит туда почти каждый день, навещает ребенка.

Бернер представил, как жена Марина сидит сейчас перед зеркалом. На столике поблескивают снятые серьги, браслет, платиновые часики с бриллиантом. Она внимательно, строго

рассматривает свой живот. Вниз от пупка все отчетливей проступает смуглая, как загар, полоса пигмента.

– Кто исполнитель? – спросил Бернер, вглядываясь через забор на далекое шоссе, по которому катились, исчезали, опять возникали огни машин, словно кто-то катал через леса и поля золотые яблоки.

– Зачем вам знать, Яков Владимирович? Меньше знаем, крепче спим.

– Кто? – требовательно повторил Бернер. Его ноздри, вдыхавшие лесной воздух, уловили слабый запах дыма, долетавший с далекой поляны, где в этот час хмельная молодежь жгла новогодний костер.

– Женщина. Олимпийский чемпион по биатлону. – Ахмет шевельнул плечами, и Бернер почувствовал, как из-под расстегнутой шубы Ахмета пахнуло теплым запахом табака и одеколона.

– Баба? Да ее же поймают! – Бернер услышал, как в доме что-то слабо ударилось и рассыпалось, словно разбилась сосулька. Он ждал продолжения звука, но была тишина.

– Не поймают. Завтра вечером ее перебросят в Чечню. Она подписала контракт с чеченцами. Месяц ее не будет в Москве.

– Русская? Будет русских солдат убивать? – Над вершинами черного леса пахнул ночной ветер. Словно кто-то невидимый перевернул страницу огромной книги, дуновение налетело на вершины елей, сдуло и осыпало снег.

– Ей хорошо заплатят. Программа вербовки снайперов.

– Хочу на нее посмотреть.

Мир, который его окружал, был представлен черными, усыпанными снегом вершинами, золотыми огнями на далеком шоссе, озаренным домом, в глубине которого перед зеркалом сидела жена, чувствовала, как в ней взрастает младенец. Мир был представлен запахами табака и одеколона, исходящими от Ахмета, и глубинной тоской и тревогой, которые поднимались в душе, как едкий дым от какого-то древнего пожара, где истлевали остатки былых цивилизаций, разрушенных дворцов и храмов, разграбленных городов. Этот ядовитый дым великих потерь и несбывшихся ожиданий просачивался сквозь поколения и теперь всплывал в нем необъяснимой тоской и безумием.

– Завтра днем в спортивном зале, – сказал Ахмет. – Посмотрите на нее издалека, перед тем как ее повезут на позицию.

Ахмет поклонился и пошел к машине. Его тугой, с бульдожьим задом «Мерседес» покинул усадьбу, и было видно, как в деревьях струятся длинные аметистовые лучи.

Бернер стоял на мраморном запорошенном крыльце своего дворца. Небо над ним зияло огромной черной дырой, в которой клубилась ночная муть. В душе, как в кратере, сквозь глубинные разломы и щели сочилась тоска. Эта ядовитая мгла тянулась из души прямо в небо, словно он был дымоходом, сквозь который подымался полуостывший дым древнего подземного пожарища, поглотившего библейский рай, дивные кущи, девственные леса, райских птиц и животных и наивных богоподобных людей.

Это ощущение утраченного рая, невозможности обрести его, воссоздать здесь, на земле, посещало его в виде приступов тоски и отчаяния, которые сменялись бешенством и безумием. Единственный, кто уцелел от того древнего цветущего времени, был толстый глянцевитый змей, обтянутый чешуйчатой кожей. Словно огромный солитер, он вполз в него, удобно свиваясь в желудке, в кишках, в пищеводе. Мучил, душил, побуждал действовать. Гнал из авантюры в авантюру, из приключения в приключение. Умножал богатство, славу, власть, наполняя воспаленное чрево неутолимой жаждой и голодом.

Иногда ему казалось, что он, Яков Бернер, есть жертва и наследник какого-то древнего, совершенного пращурами преступления. Вместилище греха отцеубийства, богоборчества

или еще какого-то забытого страшного действа, находившегося под вселенским запретом. Нарушение этого запрета, попрание заповеди обернулось для пращуров страшным наказанием и возмездием. Теперь это бремя, перетекая из рода в род, по-змеиному переползло в его душу. Изъедает его, уродует, обрекает на преступления и святотатства. И уже вползает в его неродившееся дитя, свернулось едва заметным завитком в красном слепом эмбрионе, среди слизи, материнского тепла и плоти. Обозначилось на женском животе слабой полоской пигмента.

Это чувство было нестерпимо. Превращало в абсурд его планы и замыслы, погоню за богатством и властью, стремление продолжить свой род. И не справляясь с этим абсурдом, он желал себе смерти.

Он смотрел на темные остроконечные ели, переложенные пластами снега. Ему казалось, что в ветвях притаилась, выслеживает его женщина-снайпер, похожая на фантастическую птицу, с крыльями, хвостом, девичьей головой. Вцепилась когтями в сук, высматривает его в прибор ночного видения, и он сквозь ее прицел выглядит, как зеленоватый длинный пузырь, наполненный флюоресцирующими соками. Ударит в пузырь острие, брызнут тугие соки, и останется лежать на ступенях пустая, как целлофан, оболочка.

«Ну убей, убей меня!» – молил он женщину-птицу, глядя на темную ель.

Бернер так пристально смотрел на черное дерево, так страстно ждал увидеть вспышку выстрела, так яростно посылал к вершине свои мольбы и проклятья, что воздух, окружавший ветки, дрогнул, снег посыпался с еловых лап, и казалось, с вершины сорвалась, улетела в ночь большая сова.

Он вошел в спальню. Голубые атласные обои. Голубые гардины. Голубая лакированная кровать с позолотой. Голубая тумбочка с огромным голубоватым трюмо. Марина сидела перед зеркалом в просторной ночной рубахе и большим гребнем расчесывала тяжелые золотистые волосы. На полу валялись черепки расколотой мексиканской вазы. Это ее звук, похожий на падение сосульки, слышал Бернер, стоя на крыльце.

– Разбила? – спросил он, не огорчаясь от вида расколотой вазы, а радуясь тому, что нашелся повод для его едкого раздражения. – Поразительная способность все колоть!

– Ну и бог с ней! – попыталась отшутиться Марина. – Она нам казалась безвкусной.

Ваза, превращенная в груду фиолетовых черепков, была куплена Бернером на колдовском базаре в Мехико. Среди небоскребов были разбиты полотняные навесы, палатки, деревянные прилавки, бесконечные торговые ряды, где черноволосые проворные женщины продавали колдовские отвары и зелья, волшебные плоды и коренья, талисманы и амулеты, высушенные обезьяньи лапки и рыбьи головы. Продавщицы тут же ворожили, колдовали, заговаривали, изгоняли злые болезни, привораживали. Раз в году этот рынок превращался в праздник ведьм, и тогда гремели бубны и трещотки, курились сладкие дурманы, плясали колдуньи, кидали в огонь корешки, и огромная толпа с древними индейскими лицами славила духов и подземных богов, чародействовала и волхвовала.

Именно там, в этих рядах, Бернер купил фиолетовую стеклянную вазу, в которую продавщица-колдунья выдохнула из красных губ струйку волшебного дыма.

Теперь от вазы остались осколки, и Бернер чувствовал, как в нем разливается эта ядовитая дымная струйка.

– Тебе ваза казалась безвкусной? Все, что я люблю, тебе кажется безвкусным и пошлым? Ты аристократка, а я, по-твоему, местечковый плебей?

– Да я вовсе не говорила этого! – Марина начинала обижаться, не понимая природы его раздражения. Ее глаза увеличились, начинали поблескивать ответным раздражением.

– Ты думаешь, я женился на тебе, чтобы выслушивать сентенции относительно моей местечковости?

– Да оставь ты меня в покое! Если ты заговорил о местечковости, значит, она у тебя присутствует. Возьми на заметку и преодолевай!

– Может, ты начиталась антисемитских газет и журналов?.. Расскажешь мне о жидомасонском заговоре?.. О том, что евреи погубили Россию?.. Может, назовешь меня «жидовской мордой»?.. Ну назови, назови! – Он кричал, кривлялся, чувствовал к ней ненависть и одновременно влечение. Видел, как ее красивое лицо начинает искажаться, портиться, на губах, на дрожащем подбородке, на искривленных бровях начинает возникать несчастное выражение. – Ну назови, назови!

– Зачем ты меня мучаешь! – в слезах воскликнула она. – Ты знаешь мое положение! Знаешь, что мне нельзя огорчаться! Хочешь, чтобы у нас родился урод?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.